

A521кр

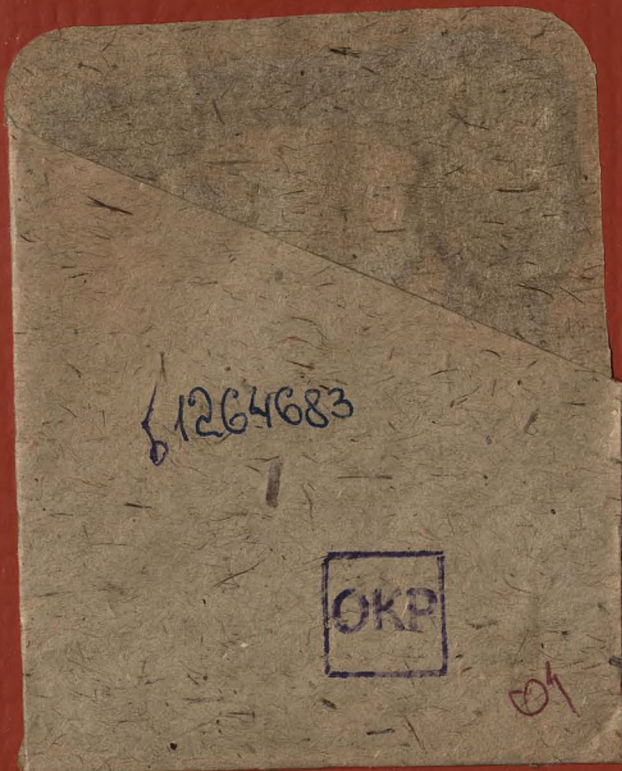
б1264683

ISSN 0320-7447



# АЛТАЙ

4. 1986







A521кр.

# АЛТАЙ

1986

4

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ  
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ  
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Издается с 1947 года

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

Владимир СОКОЛОВ. Перемены. Повесть . . . . . 7

### ПОЭЗИЯ

Геннадий ПАНОВ. Во имя добра и доверья... Стихи . . . . . 3  
Николай МОРОЗОВ. ...А дано ее беречь! Стихи . . . . . 54  
Имя в поэтической рубрике. Стихи молодых . . . . . 57

### ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

Игорь ИВАНОВ. Артекство . . . . . 60

### КРИТИКА

Сергей КАШИРИН. Земля и люди. Заметки о книгах из серии «Современная  
сибирская повесть» . . . . . 67  
Виктория ДУБРОВСКАЯ. От поэзии до прозы — один шаг . . . . . 79

### ВЧЕРА, СЕГОДНЯ

С. ТАРБАНАКОВА. «Ойрот-театр» — первый профессиональный театр Горного  
Алтая . . . . . 83  
В. ПЕТРЕНКО. Письма из Шенкурска . . . . . 88

### ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Василий НЕЧУНАЕВ. Чудо-людия, или Путешествие Афони в страну чудес. Фа-  
нтастическая поэма . . . . . 91

БАРНАУЛ. АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. 1986

Главный редактор И. П. КУДИНОВ

Редакционная коллегия:

В. М. БАШУНОВ, В. Ф. ГОРН, Е. Г. ГУЩИН, Л. И. КВИН,  
Ю. Я. КОЗЛОВ, Я. Е. КРИВОНОСОВ, Н. И. МОРОЗОВ,  
Г. П. ПАНОВ, В. В. СУКАЧЕВ (зам. главного редактора)



АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» 1986 № 4

Художественный редактор В. Еранкин. Технический редактор М. Сафонова.  
Корректор Н. Тырышкينا.

Рукописи не возвращаются

АГ 02680. Сдано в набор 20. 10. 1986 г. Подписано к печати 20. 11. 1986 г. Формат 70x108/16. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 8,837. Уч.-изд. л. 10,704. Тираж 6000 экз. Заказ № 1577. Цена 50 коп.

Алтайское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли — 656015, Барнаул, Ленина, 76.

Производственное объединение «Полиграфист» управления издательства, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — 656023, Барнаул, Г. Титова, 3.

Адрес редакции: 656099, Барнаул, пр. Строителей, 11-а. Тел. 2-14-53.

© «Алтай», № 4, 1986.



Панов Геннадий Петрович родился в 1942 году. Окончил Высшие литературные курсы при СП СССР. Автор семи поэтических книг, изданных на Алтае и в Москве. Лауреат премии Ленинского комсомола Алтая. Член Союза писателей СССР. Живет в Барнауле.

Геннадий ПАНОВ

## ВО ИМЯ ДОБРА И ДОВЕРЬЯ...

### СТИХИ О РУССКОЙ ПЕЧКЕ

*И. Дронову*

О тебе,  
воистину пригожей,  
эта незатейливая речь,  
в доме мамы,  
в кухоньке-прихожей,  
чудом сохранившаяся печь.

Вот шесток,  
вот устье и загнетка,  
вот чувал,  
горячий и живой.  
Сколько сказок,  
редкостных да метких,  
ты в войну дарила нам зимой!

В печке гулко бухали поленья,  
и вскипала,  
как слеза, смола.  
Фронтное наше поколенья  
ты,  
свет-печка русская,  
спасла.

Поседали вдовы, как березы,  
Наши дети — в армии уже.  
Грянули сибирские морозы —  
аж слова смерзаются в душе!

Или мы отвыкли от мороза!  
(Не тепличных вроде бы кровей!)  
Или удаль  
вытеснила проза!  
Или деды были здоровей!..

Жарко в печке бухают поленья,  
будто рвется в памяти  
тротил.

Время фронтовому поколению  
у руля вставать  
и у ветрил.

Я слов высоких не треплю,  
я печку  
русскую  
топлю!

\* \* \*

Наберись терпения, строка:  
сиверко при минус сорока —  
аж лицо немеет и горит.  
Мой соклассник-немец говорит:

— Это что же мы, сибиряки,  
спрятали носы в воротники!

Станем стенкой  
с удалю в плече —  
как при Стеньке,  
как при Пугаче!..

На веселье зуб всегда горит,  
если в жилах кровь заговорит.  
Стенка изгибается в дугу —  
и уже перчатки на снегу!..

Поиграли силушкой всласть:  
у кого-то шапка не нашлась,  
у кого-то покосился нос,  
но зато всем весело до слез.

Славно Ванька-немец пошутил,  
а меня  
недобрый дух  
смутит.

Я сумею объяснить стократ:  
сверстник мой  
ни в чем не виноват,  
понимаю и молчу пока...

Набирайся мудрости, строка!

\* \* \*

Прорубала мурома леса  
на пути  
в загадочную Азию.  
Новгородец наполнил паруса,  
увлекая  
чудь голубоглазую.

Струги,  
по-ушкуйному вольны,  
шли в Сибирь  
на звезды и светила.  
Сухона отбеливала льны,  
и канаты  
Вологда крутила.

Льды ломая,  
дыбилась река,  
в дальних дебрях  
молнии блистали...  
Неспроста потомки Ермака  
сами

той Сибирью  
прирастали!

### У МОГИЛЫ М. С. ШУКШИНОЙ

В будних Сростках  
на горе Пикет  
праздного паломничества нет.  
Припозднилась девушка одна  
у могилы  
мамы Шукшина.

Вот он,  
скромный бугорок в тиши,  
на гору подняться не спеши,  
встань у этой  
памятной оградки,  
воздухом бессмертья подыши.

Я бывал здесь  
и встречал не раз  
близость  
самых незнакомых глаз.  
Вот и эта девушка взглянула —  
на печаль  
печаль  
отозвалась!..

### УТРЕННЕЕ

Тишина над озером.  
Где-то чайки спят.  
Нет на пне березовом  
бойких лжеопят.

Вот зарянка тенькнула,  
встань и не дыши:  
гладь воды — как зеркало  
неба и души.

Зачерпну из озера  
ковшиком зарю,  
на отваре розовом  
чудо сотворю

с нашим корнем бодрости  
наизолотым  
и от чая вскорости  
стану молодым!

Молодым, отчаянным  
[сгинь, лукавый бес!],  
...в озере качается  
глубина небес.

\* \* \*

В век активной реактивной тяги  
похлевать бы золотой кулаги,  
утомленной в глиняной корчаге!

Русь на угощенье таровата:  
за кулагой  
шла бы саламата,

да в квасок,  
да вместе с хреном-редькой,  
да яичек —  
прямо из загнетки!..

Что же с нами случилось  
и случилось:  
мать томить кулагу  
разучилась,

внук на деда  
смотрит виновато —  
он не слышал слова  
с а л а м а т а...

Можно жить, конечно, без кулаги,  
усреднить и слово, и судьбу.  
...В век активной реактивной тяги  
как бы нам не вылететь в трубу!..



**ТВОРЕЦ ИГОРЕВОЙ ПЕСНИ***С. Воинову*

Кровь вскипела. Душа спеклась.  
Песня русская родилась.

Слово к слову.  
Словцо к словцу.  
Что кольчуга —  
кольцо к кольцу.

О земля моя, поелику  
ты огромна,  
тобой гордясь,  
вот за этим холмом воскликнул  
может, ратник, а может, князь:

— Братья-русичи, мы по духу  
и по крови — одна семья.  
Чую сердцем и слышу ухом,  
как тревожно дрожит земля!

Тьма татарская завихрялась,  
чтобы пасть  
на века вперед...  
Имя автора не терялось,  
ибо «Слово» хранил  
на род!

**КРЕСТЬЯНСКОЕ ЖИТИЕ  
ДЕДУШКИ ЕГОРА  
И БАБУШКИ МАРИНЫ**

1.

От былинной русской силы,  
от любви,  
как повелось,  
у крестьянина три сына  
и три дочки родилось.

Сам крестьянин мировой  
был на первой мировой.

Он со смертью разминулся  
по-сибирски — на ходу.  
Из огня  
в огонь вернулся  
в восемнадцатом году.

Из-за леса, из-за гор  
прибыл дедушка Егор.

Котелок принес и фляжку,  
да солдатскую фуражку,

сапоги нарастапашку,  
на босу ногу топор  
(как шутили с давних пор!),

да гранату без чеки,  
чтоб боялись колчаки...

Но не дедова граната,  
а иркутская ЧК  
за советский флаг крылатый  
разменяла Колчака.

У сохи где — зад,  
где — перед  
не забыл солдат пока.  
Ветер крутит.  
Жернов мелет.  
Мягко сеется мука.

2.

Крутит мельница-ветрянка  
деревянные крыла...  
А зарянка спозаранку  
в поле  
пахаря звала.

Нет забот трудней и краше —  
розовеет окоем —  
дед Егор землю пашет,  
сеет  
с бабушкой вдвоем.

День над пашнею просторен,  
сев с руки  
совсем не прост:  
россыпь зерен,

россыпь зерен,  
россыпь зерен,  
россыпь звезд.

В Млечный Путь  
сольются звезды.  
Мать-земля, благослови  
час-другой  
на сон, на отдых,  
остальное —  
для любви!..

3.

На соломенной перине  
извертел солдат бока.  
Да и бабушке Марине  
было меньше сорока

в те поры,  
как из-за гор  
прибыл дедушка Егор.

На колени взял двух дочек,  
сына сжал на радостях.  
И подал жене платочек  
весь в рябиновых кистях.

Все на месте,  
все в порядке,  
зацвела как маков цвет.  
А ребятки, словно с грядки, —  
убедительный ответ:  
как ждала она солдаткой  
до-о-лгих  
пять военных лет!..

Дым черемухи до солнца  
уплывает на восток.  
Снова сын  
                    под сердцем  
                                    бьется,  
наливается сосок.

Пахнет мятой и хмелем  
предрасветная рука.  
Ветер крутит.  
Жернов мелет.  
Мягко сеется мука.

От былинной русской силы,  
от любви,  
светлее рос,  
у крестьянина три сына  
и три дочки  
родилось!

### МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Колышется жаркое жито,  
опоры — вращающую — гудят.  
Мой возраст  
скатился с зенита,  
пошел громохат на закат.

Ну что же,  
я прожил немало,  
пора оглядеться, пора!..  
Вот послевоенная мама  
хлопочет у печки с утра.

Глаза и движения строги,  
шершавые руки грубы.  
А вот я и сам на пороге  
крестьянской избы и судьбы.

В холщовой рубашке, штанишках,  
босой  
(чтоб обувку беречь!),

мои изначальные книжки,  
родная — до буковки — речь!

А вот уже радио плачет,  
флаг траурный  
крыльями бьет.  
Я стал пионером, и, значит,  
свет-память во мне  
не умрет!..

Шумят вековые деревья,  
Распахан столетний овраг.  
Во имя добра и доверья  
сражается  
                                    с морочью  
  флаг.

А дни, как назло, ветровые,  
а колос граненый  
весом.  
И я за штурвалом впервые  
стою на комбайне с отцом...

Мы брали у жизни уроки,  
и я благодарен судьбе,  
что самые первые строки  
сложилась  
о нашей избе,

о бабушках,  
что нас растили,  
о близкой и дальней родне,  
о нашем селе, о России,  
о прошлом и завтрашнем дне.

Мы знаем все наши святые,  
а с ними  
мы зорче втройне.  
Мое поколение ныне  
за все  
                                    отвечает  
  в стране.

Шумят вековые деревья.  
И свежестью тянет с полей.  
Во имя добра и доверья  
означены в сути своей

шумиха и дело святое,  
ржа власти и слезы удач.

...А поле —  
и впрямь золотое,  
а колос —  
тяжел и горяч!



*Соколов Владимир Дмитриевич — коренной барнаулец, закончил Алтайский машиностроительный институт. Стихи публиковались в «Сибирских огнях», альманахе «Алтай», красивых газетах, коллективных сборниках. В 1983 году в альманахе «Алтай» печаталась подборка заводских рассказов. Участник зонального совещания молодых писателей Сибири в г. Новосибирске (1982 г.). Живет в Барнауле.*

**Владимир СОКОЛОВ**

# ПЕРЕМЕНЫ

ПОВЕСТЬ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

В зашторенное окно ломился июльский зной. Начальник 15-го цеха Скоблов, сухонький очкарик, преждевременно поседевший от перегруженности производством, напряженно думал.

Чуть ли не каждую минуту рычал телефон с шестью клавишами. Вздрагивая, Скоблов искал нужный клавиш, над которым помаргивала крохотная лампочка, нервно нажимал пальцем и слушал. Подчиненные были многословны и торопливы — он отвечал им кратко и повелительно, стоящие выше говорили медленно и веско — он отвечал им торопливо и сбивчиво. Закончив разговор, Скоблов снова нырял в тяжелые мысли.

Два дня назад его заместитель по оборудованию Демьян Плакида лег в больницу с тяжелым инфарктом. А Демьян был необходим Скоблову как воздух. Он один знал все нити, с помощью которых можно было вытащить в кратчайший срок новые валы и шестерни, подшипники и ползушки, вкладыши и собачки... На Демьяна можно было положиться. Скоблов вообще не знал, спит ли когда-нибудь Плакида. Нередко в час-два ночи Скоблова будил телефонный звонок: «Пресс пустили. Правда, один подшипник на валу маховика греется, но, думаю, выдюжит. Поддоны делают. Сварщики остались в ночь — варят. Можешь досыпать спокойно...» — доносился хриловатый голос Плакиды. Слыша краем уха проклятия проснувшейся жены, Скоблов что-то отвечал, что-то спрашивал, отсылал Плакиду отдыхать и осторожно залезал под одеяло, стараясь увернуться от локтей разъяренной подруги жизни...

Снова зарычал телефон. Звонил старший мастер тяжелых прессов Лещев, человек самонадеянный и наглый. Он долго орал в трубку, что у механика все бездельники и тунеядцы, что никому в цехе ничего не надо, что всех руководителей скоро из цеха разгонят и что остановилась «кобыла» (четырёхкривошипный восьмисоттонный пресс, кривошипы которого напоминали лошадиные ноги). Критическое многословие Лещева было общеизвестным, но «кобыла» обескуражила Скоблова: пресс единственный, обходных путей нет. Следом позвонил механик цеха Латкин и сообщил, что тысячетонный чеканочный пресс опять порвал щеки. Мурашки побежали по спине Скоблова. Там, внизу, рокотали шестернями и жевали сталь сто двадцать четыре пресси. Десятки тысяч тонн несли в своих суставах эти железные организмы, и слабые пальцы людей, прикасаясь к пусковым кнопкам, мгновенно обрета

мощь. Бесконечно разнообразные по форме детали — от копеечного размера шайб до броневой толщины листов, покрываемых замысловатыми тиснениями, — потоком шли в цеха и на конвейеры. Это была железная река, с грохотом рождающаяся в цехе. Но если обыкновенная река, попадая в узкое скальное горло, пенясь и ревя, мчится дальше, то железная, наткнувшись на два остановившихся пресса, могла остановить механический цех и три конвейера — две тысячи человек могли остаться без дела. Скоблов на миг физически ощутил на своих нешироких плечах чудовищную тяжесть заводской ситуации и бросился вниз.

На шестиметровой высоте около маховика «кобылы» возился слесарь. Подскочил откуда-то старший мастер Лещев, заорал:

— Ну что, Юрий Зосимыч, распускать людей, что ли?

— Это зачем, почему же?

— «Кобыла» стоит, — Лещев сунул подрагивающую левую руку с растопыренными пальцами Скоблову под нос и согнул после слова «стоит» мизинец. — Восьмисоттонный вытяжной из-за нее стоит — деталям-то ходу нет (согнулся второй палец). Чеканочный щеки порвал, за ним вся цепочка корпуса муфты стала (согнулись третий и четвертый палец), — а корпусов муфты до утра! — Торчащих пальцев не осталось — под носом у Скоблова торчал костлявый кулак. Отодвинув кулак в сторону, Скоблов метнулся к тысячетоннику.

Слесарь шестого разряда Сенькин уже вытаскивал застропленный ползуи, делая руками условные знаки крановщице. «Надолго?» — спросил Скоблов. Сенькин деликатно ответил: «Суток на двое... Опять щеки порвал».

Механика цеха Латкина Скоблов нашел в замурзанной железной клетушке, неизвестно почему пышно именуемой кабинетом. Соскребая со щеки солидол, механик уговаривал двух слесарей остаться с первой во вторую смену, менять растянутые щеки ползуна тысячетонного пресса. Торопливо вошел Сенькин. Подавленно молчавшие слесари оживились, запросили «морковку».

«Морковка»... Ох уж эта «морковка» — разовая денежная приманка за работу, отнимающую время у рабочих сверх всяких допускаемых законом сверхурочных часов, дирижерская палочка в руках руководителя, запутавшегося в сложных производственных обстоятельствах, символ бесхозяйственности, неизбывная заначка, толкающая ее добытчиков на недолгое и утлое алкашеское братство...

«Морковка», словно женщина, привыкшая к неверности, манит к себе, обещает сладкое счастье, но оставляет разочарование и досаду, раздражение и злость и тягу к новой «морковке», новой соблазнительнице... Все-таки тягу...

Приобретя какой-никакой «морковный» опыт, душа надеется извлечь из этого нечто лучшее, чем уже извлекалось, нечто более сладкое, чем сбылось... Ох, уж эта «морковка»! Именно «морковка» — не картофель, не говядина, не хлеб наш насущный...

Латкин в ответ на просьбы слесарей, активно поддержанные Сенькиным, замаялся, взглянул просяще на Скоблова. Назначив дополнительную ставку, Скоблов дал срок до утра и поднялся в кабинет. Там его ждали три посетителя — врач санэпидемстанции, пожарник и инспектор по технике безопасности.

Пожарник жестом фехтовальщика, наносящего укол, положил на стол предписание с грифом «Вторично». Бланк был заполнен мелким почерком, хвосты сложносочиненных предложений вылезали за пределы бумаги... Скоблов сделал вид, что внимательно прочитал предписание, подписал копию, вернул ее пожарнику и посмотрел на врача — женщину румяную и приятную, — тут же протянувшую ухоженной рукой свою бумагу. Скоблов поулыбался, вежливо покивал над текстом, подписал копию, придвинул ее к бордовым ноготкам и повернул голову в сторону инспектора по технике безопасности.

— Малолетки работают ночью, — заговорил инспектор поскрипывающим голосом. — Вот данные вчерашней проверки. — Издали показал Скоблову текст. — Мастера хамят, заявляют, что малолетки стали сильнее взрослых, пытаются скрыть грубейшие нарушения... — Голос его постепенно накалялся и вдруг осекся: Скоблов явно не слушал — глаза его подернулись глянцевой пленкой и смотрели куда-то с малоосмысленным выражением. Инспектор сглотнул, острый кадык прокатился по длинной худой шее, ястребиный блеск глаз померк. Оставив свою бумажку Скоблову, пожимая плечами, он вышел. Скоблов остался один. Бушевало солнце за шторами. Телефон молчал, словно бы усовестившись. Робкая секретарша Лиза, сорокалетняя женщина со средним образованием, реденько постукивала клавишами разбитой печатной машинки: печатала приказ на очередной строгий выговор с последним предупреждением механику Латкину за невыполнение ППР\* в сроки, согласованные с отделом главного механика.

«Опять восемь ошибок сделает», — подумалось ему. Прижав кулаки к белоснежным вискам, он застыл и оставался так минуту... пять минут... десять... Лязгали за окном трамваи. Гудели автомобили. Доносился женский смех. Люди куда-то шли, ехали, люди болтали, смеялись и были счастливы.

Наконец Скоблов пошевелился.

— Лиза!

— Я!

— Зайди!

— Что вы хотели, Юрий Зосимович?

— Пойдешь в экспериментальный цех.

— Я ж не допечатала...

— Брось!

— И что там?

— Найдешь Ивана Петровича Пряслова — помнишь, лет пять назад механиком у нас работал?

— Помню.

— Приведи его ко мне немедленно...

— А если не захочет?

— Захочет. Без него не возвращайся.

Лиза ушла. Оставшись один, Скоблов немедленно вызвал по селектору оператора первой смены: «Галочка! Васюкова, Семенова, Латкина и Лещева — срочно ко мне!» — «Сейчас, Юрий Зосимович», — голос прозвучал близко и свежо. «Все цветешь, Галочка?» — не удержался Скоблов от комплимента. «Все старею, Юрий Зосимович», — кокетливо ответила Галя.

Через пять минут все четверо вошли в кабинет — заместитель по производству Васюков, непроницаемо нейтральный, всегда все знающий заместитель по технике — зампотех — Семенов, исполненный сознания своей компетентности, бледный Латкин, покрытый розовыми пятнами Лещев. Скоблов кратко охарактеризовал положение цеха и завода. «Корпус муфты должен быть во второй смене», — закончил он. Молчание. «Тысячник нужен», — пожал плечами Васюков.

— Как обойтись без него? — Вопрос для всех. Молчание.

— Скажи, главный инженер! — Семенов передернул плечами. Скоблов потемнел. Кулак его сжался, всплыл над столом, повисел в воздухе и резко врезался в толстое настольное стекло:

— Завод останавливать нельзя! Я не позволю! — Все лица попостнели. — Ставьте чеканку корпуса на «кобылу». Латкин, закрутил «кобылу»?

— Закрутил.

— Все! Не обсуждать — исполнять!..

\* ППР — планово-предупредительный ремонт.

Все поднялись и молча вышли.

— Лошадь все выдержит, — вполголоса проскрипел в дверях Семенов.

Скоблов привскочил, сел под хлопок резко закрываемой двери, покачал головой. Успокоился, посмотрел на часы — 15.30. Через час планерка. Где же Лиза? Снял селекторную трубку, включил на пульте рычажок парторга Якова Васильевича Глухова, избранного недавно по рекомендации парткома.

— Не смог бы зайти, Яков Васильевич? Решать надо по замку вместо Плакиды.

— Зайду.

Минуты через три-четыре Глухов вошел, молча сел.

— Жду Пряслова из экспериментального.

— Пряслов?.. Механик, лет пять назад ушел из нашего цеха?

— Да, — удивленно подтвердил Скоблов.

— Механиком не пойдет, для зама образования маловато.

— Зато богатейший опыт, железное здоровье, не нам чета — кряж.

— Хорошо его знаете, верите в него?

— Да.

— Ну что ж, побеседуем с ним вместе.

Открылась дверь, и в кабинет вошел тяжеловатый брюнет, плечистый и меднокожий. Волосы его слегка курчавились, на лице — улыбка. За его спиной мелькнуло бледное личико Лизы, она тут же уселась за машинку и застучала реденько. «Иван Петрович!» — разведя руки, закричал Скоблов и, выйдя из-за стола, демонстративно обнял Пряслова. После недолгих «ну как?» Пряслов посерьезнел и спросил: «На работу зовешь?» — «Зову». — «Механиком?» — «Хотя бы и механиком». — «Не пойду». — «Персональных дам... рублей 20». — «У меня в экспериментальном — 30». Помолчали. «Чтобы ясно было, так скажу, — нарушил паузу Пряслов, — замом возьмешь — пойду». Скоблов помолчал мгновение, посмотрел на Глухова, тот перетирал что-то между указательным и большим пальцами правой руки. «Ну что ж, с большого носа больше спроса, беру замом», — махнул рукой Скоблов. «А в ОТиЗе пробьешь? У меня ведь курсы да на колесах турсу...» — «Пробью. У директора пробью», — нарочито тяжело, как сквозь невидимое препятствие, выговорил Скоблов. «Сговорились», — сказал Пряслов и широко улыбнулся, сверкнув белыми, крупными, плотно посаженными зубами. Скоблов тоже улыбнулся, крутнул головой: «Черт широкоплечий, да мы с тобой... Эх!» Шлепнул по стеклу ладонью, щелкнул клавишем прямой связи, в трубке чуть слышно заворчали позывные — первый, второй... пятый... наконец густой баритон директора завода Степана Тимофеевича Кругова ответил спокойно: «Слушаю вас». — «Это Скоблов. Зама по оборудованию нашел, зайти надо, решить». — «Кто же это?» — «Пряслов, из экспериментального». Кругов помолчал, оценивая... «Зайдите, поговорим».

Кругов почти всегда улыбался. Улыбка была его маской. За ее щитом скрывался человек деловой, требовательный и жесткий. К его нервной системе доступ заводским делам был закрыт. Все проблемы решал только мозг. Сложная система стереотипов, ведущих к решению, постоянно им пополнялась. Встречая проблему, он примерял ее к системе, если находил в ней бесспорные указатели, решал в соответствии с ними, если же не находил, вырабатывал дополнительные. Волнение, вдохновение, восторг, экстаз считал словами-паразитами, обозначающими недопустимую распушенность нервов, равносильную болезни. Как человек, он позволял себе иногда расслабиться на футболе или хоккее, например, или за столом с социально равными партнерами. Как руководитель, он сохранял трезвость ума всегда...

Пока Скоблов, Глухов и Пряслов шли к нему, он успел допросить кадровиков и узнать о Пряслове все необходимое. Стереотип ситуации был таким: в тяжелый цех идет руководитель-практик заместителем. Должен иметь минимум: должный уровень общей культуры, уверенность в своих силах, знание дела плюс к этому — здоровье. Пока у него не было уверенности в первом качестве, его и надо было проверить при встрече.

Когда они шли к столу, директор монументально сидел, как всегда улыбаясь, когда они остановились у стола — прибавил улыбки, встал, подал каждому руку, усадил всех, сел сам. Посмотрел на Пряслова. Улыбка медленно истаяла.

— Вы уже работали в 15-м цехе. Ушли. Почему?

— Не сошлись характерами с Плакидой. (Кругов поднял брови.) Не давал он мне ремонт осуществлять по-настоящему, в полном объеме предусматриваемых работ (Кругов кивнул), а в нашем деле тише едешь — дольше будешь.

— Ездить надо с современными скоростями, но не нарушая правил дорожного движения, разумеется, — пошутил Кругов.

— Без нужды не торможу, — подхватил шутку Пряслов.

— Уверены, что наладите дело? — спросил Кругов уже серьезно, но не убирая, однако, улыбки с лица.

— Налажу. Только времени надо... года два.

Улыбка Кругова погасла.

— Дать могу только год, не больше.

— А новыми прессами будете помогать, Степан Тимофеевич?

— На многое не надейтесь, кое-что будет, но скоро не ждите (улыбка снова возникла).

— Год так год... Тяжеленько будет, конечно, но деваться некуда, будем налаживать дело, — помолчав секунду, уверенно сказал Пряслов.

— Приказ будет. Все, — закончил Кругов и встал. Улыбка на мгновение погасла, машинально возникла снова. Глаза были холодны, в них даже искринки от улыбки не осталось.

Они вскочили, попрощались, вышли, ощущая спинами тяжелый холод взгляда.

Заместитель Скоблова по производству Васюков, мужчина крупный, гладкий и белолицый, принимал от оператора дефицит второй смены. Спокойно пересчитывая «нули» и пошучивая с нарядной Галей, взглянул на вошедших, чуть пошире раскрыл глаза на Пряслова — знали друг друга давно.

— Только что от директора — наш новый зам по оборудованию, — на ходу представил Скоблов.

Васюков поднялся, пожал Пряслову руку. Многозначительно посмотрели друг другу в глаза.

— Давай раскошегаривай мощности, давно пора, — сказал Васюков.

— В ремонт по графику буду брать, без дураков, ты меня знаешь, — сказал Пряслов холодно. Васюков кивнул в знак согласия. Продолжил изучение дефицита. На среднем пальце его правой руки поблескивал массивный золотой перстень. Белая с розовой полоской рубашка свежа, галстук моден, костюм — с иголки.

— Франт. Гале совсем голову закружил! — кивнул Скоблов на Васюкова. Васюков улыбнулся одними губами, повел красивые карие глаза в сторону белоснежной Галиной блузки. Галя выпрямила и без того прямую спину.

— Ох, Юрий Зосимович, всегда-то вы меня зацепите словечком!

— Такую кралечку как не зацепить? — заулыбался Скоблов.

Галя заметно порозовела, спросила: «По дефициту все, Пал Васи-

лич?» — «Нулей больно много принесла». — «Сколько есть. Работайте лучше — меньше будет». — «Заноза!» — улыбнулся Васюков. Галя эффектно крутнула крутым бедром и простучала по кабинету каблучками лакировок. — «Хороша, хороша, лучше не бывает!» — сказал ей вслед Васюков, продолжая улыбаться. «Хороша, хороша...» — машинально повторил Скоблов.

На вечернюю планерку собрались дружно. «Все? — Васюков оглядел кабинет. — Все. — Повернул голову к Скоблову: — Юрий Зосимович?» Скоблов представил Пряслова.

Планерка началась нервно. Выпрыгивал и кричал Лещев. «Иван Федорыч, из крика шубы не сошьешь», — осадил его Васюков. Лещев примолк. Скоординировав взаимные вопросы и уточнив обстановку по нулям, Васюков отправился в цех, Скоблов с технарями и Лещевым — к «кобыле». Корпус муфты долго «упрямился» и «пошел» часов в восемь вечера. У Скоблова полегчало на душе, он посмотрел вверх очков на Глухова, Пряслова и пригласил их к себе.

— Ну как цех, Иван Петрович? — спросил он, отвалившись на спинку кресла. Пряслов поморщился.

— Говори, что думаешь, без утайки.

— Все?

— Все.

— Обижаться не будешь?

— Какие тут обиды!

— Загнал ты цех, Юрий Зосимович.

— Как это? — удивился Скоблов.

— Так это... ППР не выполняется. Ремонты делаются на соплях. Подлатывают — лишь бы скрипело. Пресса работают на износ. Да и дисциплина в ячейке механика ниже некуда. На «морковках» держится. Отгулов за неведомые подвиги у всех полны горсти, а подвигнутого не видно...

Слушать Пряслова было больно. «Не знает ничего про цех, про обстановку, а туда же — критик!» — думал Скоблов.

— Ты что, не понимаешь: если я ремонтами капитально займусь, завод остановлю? — ехидно перебил он Пряслова.

— У завода свое руководство есть, ему баки забивать не надо, — спокойно парировал Пряслов.

— Чем же я забиваю?

— Ремонты делаешь на живульку, с планом поэтому выкручиваешься. Директор убежден, что план ты делать можешь, а ты — по-доброму — не можешь! Загонишь оборудование окончательно — вот тогда-то наглухо посадишь завод, у всех глаза откроются, тебя же — нас с тобой — анафеме предадут, а начнут с того, что я сейчас предлагаю: ремонтировать начнут как следует. А новья подбросят не нам уже, а кому другому...

— Что же ты предлагаешь конкретно?

— Завтра же останавливать первого калеку и капитально делать.

— Какого калеку?

— Пятисоттонный.

— Но он же один у меня! — накаляясь, возвысил голос Скоблов. — В выходные подживулим и постучит еще!

— Останавливать надо...

— Завод остановим сразу.

— Наш завод не один в союзе и в крае, даже в городе... Помогут.

— И дальше как же?

— И дальше так же, как с этим... Переберем все наши одры, заботами Степана Тимофеевича поставим еще три-четыре пресса, и все флаги будут наши! — подытожил Пряслов.



«Все рассчитал. Восстановит прессы, себе фавора наберет, а меня затопчут, пока он чинит не спеша. Целый год выпросил!» — думал Скоблов, не в силах успокоить горячую волну обиды, подплывающую к горлу.

— Авантюра! — закричал он.

— Иначе нельзя.

— Детский разговор!

— Разговор деловой. Кругов дал срок, он и выкручиваться поможет, — гнул свое Пряслов.

— А какая у вас программа? — спросил доселе молчавший Глухов.

— Я считаю, — поднимая обе раскрытые ладони над головой и ритмично опуская их на стол, отчеканил Скоблов, — держаться на аварийных ремонтах — первое, получить, смонтировать и запустить новые прессы — второе, затем углубить восстановительные работы — третье...

Слушая Скоблова, Глухов спокойно взвешивал его доводы и отвергал их: «Получение и монтаж новых прессов — дело не быстрое, а развалимся — завод подведем окончательно. Надо ремонтироваться, а директору и в парткоме открыть истинное положение дел».

— Пряслов прав, Юрий Зосимович, — спокойно сказал он.

Сердце у Скоблова екнуло...

— Затоптать решили Скоблова, так, что ли, вас понимать? — неожиданно спросил он, глядя на Глухова.

— Вы меня удивляете, Юрий Зосимович! — улыбнулся уголком рта Глухов. — Насколько я понимаю, наша задача — выправить цех, а не топтать кого-то, тем более — вас. Вы, как никто, знаете цех, знаете людей, у нас общее дело и надо решить, как вести его дальше. В спорах же истина, как известно, рождается. Так ведь? — спросил он Пряслова.

— Ну, ясно, — смущенно подтвердил Скоблов, совсем не ожидавший такого поворота в разговоре. — Извините, нервы... — помолчав, глухо сказал он.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

С завода вышли в одиннадцатом часу. Ночь была глубока и тепла. Падали звезды. Пройдя подземным переходом к трамвайной остановке, с минуту постояли молча. Хитроватая физиономия Пряслова медно поблескивала в свете фонаря. Посверкивали очки Скоблова. Тонкое лицо Глухова с черными бровями, чуть искривленным носом и тонкими губами было серьезно. Сосредоточенно смотрели карие глаза.

— Ну, всего, я тут рядом, — первым нарушил молчание Пряслов, пожал протянутые руки и, по-моряцки раскачиваясь, ушел в темноту.

— Нам по пути, кажется? — спросил Скоблов Глухова.

— Да, мы с вами живем в одном доме.

— У вас какая?

— Пятьдесят девятая.

— А у меня... — начал Скоблов.

— Двадцать третья, я знаю.

Подошел трамвай, гоня впереди слабое дуновение душного воздуха.

— Наш, — сказал Скоблов, жестом приглашая Глухова пройти первым. Глухов не заставил себя долго ждать...

Скоблову открыл сын Сережка, пятиклассник.

— Чего так поздно?

— Работа.

— Опять пресс сломался?

— Опять.

— Все тот же?

— Тот же.

— А я пятерку получил по математике!

— Молодец! — поерошил Скоблов шевелюру сына, с готовностью подставленную для ласки.

— Сережа-то молодец, да вот папке-то на службе никто пятерок не ставит! — донесся из кухни голос мамы.

— Папка не виноват, это другие ошиблись, а ему исправлять приходится! — заершился Сережка.

Отвечая на жадные расспросы сына, слушая привычное ворчание жены, Скоблов продолжал обдумывать сложившуюся в цехе ситуацию.

«Не поторопился ли с Прясловым?» — спрашивал он себя.

\*\*\*

Пряслов дома оказался раньше всех: жил рядом с заводом. Его встретила пустая, но довольно опрятная двухкомнатная квартира. Детей родили рано: сын и дочь жили уже самостоятельно. С женой развелись давно. Она оставила Пряслову квартиру с вещами, забрав не бог весть какие, но заметные все же сбережения, и уехала на Украину к матери. Оттуда и согласие на развод прислала. Дети корили Пряслова — любили мать свою, но и отца любили, в конце концов приняли все, как есть. Так что Пряслов на сей день холостяковал и считал переход к Скоблову удачей. «Время есть, сил хватает, заботиться не о ком, должность приличная... Создам хороший ремонтный задел, поузловой ремонт продвину, новых прессов директор натолкать поможет, пока завод лихорадить будет, и живи — ершись на благо себе и людям», — думал он. Мурлыкая под нос «Соловьиною рощу», согрел чаю, поужинал, погасил свет, открыл окна, поплескался в ванной и, укрывшись простыней, быстро уснул.

\*\*\*

Глухову открыла жена, худенькая блондинка. Она выглядела бы вполне банально, если бы не сумрачный свет задумчивых глаз, больших и глубоких. «Ну что, Глухов, начались твои штурмовые ночи?» — спросила она тихо и положила узкие руки ему на грудь. Глухов засветился, раздвинулись уголки губ, глаза потеплели, обнял жену за плечи: «Начались, Лидушка, начались». Осторожно поцеловал ее, и они, бесшумно ступая, прошли на кухню.

Дети уже спали.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утром Скоблов начал обход цеха с тяжелых прессов. Корпус муфты шел на выход, тысячник за ночь подготовили к сборке. «К концу смены будет», — подумал Скоблов и побежал к механику. Латкин и Пряслов, озабоченно сдвинув головы, сидели друг против друга за железным столом и обсуждали график ремонта пятисоттонника.

Скоблов заглянул в бумагу. Сроки растягивались на месяц.

— Когда решили останавливать? — спросил он.

— Немедленно, — сказал Пряслов, не поднимая головы.

— Завтра утром, — просительно возразил Скоблов. Пряслов поднял ясные глаза:

— Немедленно, Юрий Зосимович...

— Хорошо, в начале второй смены, — уступил Скоблов.

— Уже разобрали, Юрий Зосимович, — извиняющимся тоном обескуражил Пряслов.

— Как? — крикнул Скоблов и, не дожидаясь ответа, побежал к прессу: маховик лежал на полу. Слесарь, выложив под ползуном деревянную клетку, открывал крышку шатуна...

Обновление началось.

«Где же я теперь работать должен?» — спросил себя Скоблов и побежал в кабинет, чтобы связаться с Круговым.

Кругов обычно не спешил брать трубку прямого. Грозная пауза впускала своей длительностью прилив предприимчивости у звонящих. Вдруг осеняло такое откровение, что надобность в звонке отпадала. Кругов даже вел про себя неписаную статистику, отображающую психологию звонящих по прямому. Получалось, что примерно каждый третий сохранял перед лицом этого испытания мужество и добивался ответа, тогда как остальные двое или пасовали, или осенялись внезапными решениями...

У Скоблова, однако, никаких откровений не возникло, и он с тоской слушал грозное молчание прямого. От секретарши знал, что Кругов на месте и один. Вопреки ожиданиям, Кругов ответил довольно скоро. Скоблов объяснил ситуацию. Кругов был уже в курсе дел и сказал наставительно: «Транспортный цех закрепляет за вами автомашину. Создайте группу в четыре-пять человек, берите заготовки, два пресса — подобных вашему — вам освободили на месяц на котельном заводе в холодноштамповочном цехе. Вы все поняли? Действуйте».

День прошел в хлопотах по организации филиала 15-го цеха на котельном заводе. На следующее утро прибыли первые детали. На площадке Лешев окрестил свой филиал вторым фронтом, а Пряслов, подбоченясь, тряхнул кудрями и сказал: «Ну вот видишь, Юрий Зосимыч, и выход нашелся!»

Вечером после цеховой планерки и заводского селектора Скоблов долго ходил по цеху. Работа шла спокойно, никто из заводского диспетчерского аппарата не искал его. Поднявшись к себе, обдумывая завтрашний день и текущий месяц, он уселся в кресло. Мысли незаметно сбились в сторону, и начал он думать о своей супруге, все более нетерпимой к нему, о ее все более редком снисхождении к его и так-то редким мужским порывам, об операторе Галочке, такой соблазнительной и, наверное, доступной... Мысли приняли совсем уж фривольное течение, он дал им свободу и сидел размякший от воображаемой победы... Рука невольно потянулась к сейфу, достала графинчик с лимитным спиртом, нацедила привычную порцию в белесый, давно не мытый стакан, нацедила, подрагивая болезненной дрожью, утомляясь усилием не пролить мимо. В связи с обострением дел пришлось несколько вечеров изменять привычке, но вот наступила минута расслабления, и она напомнила о себе... Разведя спирт водой, прикрыл стакан ладонью, чтобы смесь не нагрелась, и выцедил ее все-таки теплую. Лицо Скоблова перекошилось, рука вслепую поискала в ящике стола недогрызенную корку и поднесла механически к носу. Корка, однако, была так суха, что на нюх почти не ощущалась, и он принялся со страдальческим видом грызть ее. Слюна кипела спиртовым духом, отрыжка тянула назад только что поглощенную жидкость. Но вот жар запылал в желудке, слюна очистилась, глаза заблестели... Недолгая бодрость вызвала самоутверждающие чувства. «А что? Можно бы и поприжать эту Галочку — не девочка, начальнику уступит... Одна, за собой следит, стало быть — ждет...» Скоблов пожевал губами, снова воображая, как бы это могло быть... «Нет, нельзя, — прервал он себя, — еще скажет кому, похвастанет: баба есть баба, а я и так еле держусь... Нет». А Галочка казалась все желаннее, все соблазнительнее... «Может быть, бросить свою, жениться?» — вытащил он из ящика стола зеркальце. Увиденное не утешило его: лицо сморщенное, кожа висит, волосы сивые... «Фу! Вот пошло это бросить бы...» Мысль хотя и явилась, но была явно безнадежной, блеклой какой-то... «Да и как жену-то бросить — Сережка ведь, чадо разумное, зачем-почему?.. Успел же породить неотравленным организмом, а сейчас — дебила зачинать с молоденькой-то? Эх...»

Когда-то, во студентах, Скоблов пил как и все — по случаю не отказываясь, но и не тяготел. Придя на завод, попал в технологи к начальнику механического цеха Кандыбе, практику, мужику тощему и злому. Кандыба ценил в людях превыше всего преданность. Скоблов

это быстро понял и работал истово, засиживаясь на работе допоздна. Кандыба заметил самоотверженность молодого специалиста и дал под его начало техбюро. Скоблов продолжал с тем же рвением, и через три года Кандыба взял его в зампотехи. Тут проблематика работы изменилась. Скоблов столкнулся с ремонтом подсобных помещений — нужна была сантехническая аппаратура, керамическая плитка, новая мебель для красного уголка. Снабженцы почти ничего не имели. Надо было завязывать связи с прорабами субподрядных организаций. Но никто не принимал Скоблова всерьез — он поплакался Кандыбе. Кандыба молча открыл сейф и достал литровую фляжку: «На!»

— Что это?

— Спирт.

— Зачем-почему?

— Белая валюта. Выпьешь с кем надо — и отремонтируй. Понял?

Скоблов понял. Так и началось его деловое пьянство. Ремонтные работы он провернул, а в июле Кандыба взял его на выездную планерку, где руководство цеха — человек двадцать самых ответственных, — наловив рыбы и наварив ухи, дотемна пьянствовали, заводя разговоры о работе. Кандыба пил мало, везде совал нос, всех слушал. После поучал Скоблова: «От водки язык легкий делается, за мыслями бежит. А ты в мысли подчиненных проникай. Знай, с кем лямку тянешь».

Скоблов проработал с Кандыбой десять лет, и за это время вынужденные выпивки стали у него системой, влияющей не только на дело, но и на здоровье. Он тоже стал подозрительным, расстраивались отношения в семье... Именно Кандыба рекомендовал Скоблова на 15-й цех, куда его воспитанник принес необходимые, как он считал, навыки делового пьянства. Он и жене говаривал, приходя с работы в подпитии: «Я ведь зачем-почему? Затем-потому, что святое дело... Не поставишь — не пробьешь! Водка — делу смазка, и пью я для прорыва прогресса, для прр... прр... преодоления человеческой косности...» Жена смотрела на него с жалостливой улыбкой и, раздевая, поворачивая его, легкого, как бумажное чучело, приговаривала: «И кто это блажененьким таким большие дела доверяет? Пропьете там все ваши моторы или брака наделаете на всю Россию... Прорыв прогресса! И повернется же язык бессовестный к хорошему делу пьянство приторачивать!» — «Женщина! Твое понятие — вот!» — показывал он ей желтый от курева конец тупого пальца. Супруга толкала его в стриженный бобриком затылок и продолжала, накаляясь: «Рыло-то сполосни холодной водой, умник, окснись! Вот я в партком про твои пьяные дела сообщу, если еще будешь мне уши забивать пьяным своим прогрессом!» Услышав слово «партком», Скоблов останавливался, каменел, делал страшные глаза и прикладывал палец к мокрым губам... Бывало, что и сам он сомневался в целесообразности кандыбинских методов управления людьми, но слишком сильно уже в них втянулся и не столько пьянствовал для дела, сколько по укоренившейся привычке, взявшей над ним необоримую власть. В 15-м цехе в первый месяц работы он, сам себе удивляясь, впервые принял приглашение рабочего — слесаря ячейки механика Сенькина — на его пятидесятилетний юбилей, чего раньше никогда не делал. Но и это бы ничего, веди он там себя строго. Но он пил невоздержанно и с первых шагов приобрел репутацию своего мужика у всех цеховых выпивох, осмелевших после этого в удовлетворении своих пристрастий. Правда, систематически выпивал Скоблов, лишь запершись в кабинете, начальству в подпитии не попадался, и равновесие мнений вокруг него сохранялось. Но что значат мнения, если факты против них? Лимитный спирт Скоблов уже выпивал один, а для деловых выпивок резервировал деньги из премиальных сумм. Процесс завершился: деловое пьянство превратилось в пьянство самое обыкновенное.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Пряслов следил за капитальным ремонтом первого пресса лично, осматривал и вымерял каждый вкладыш, вал, шестерню, разносил за любую, самую мелкую халтуру и даже темный, как дубовая кора, кулак свой размером с пудовую гирию поднес однажды к сизому носу Сенькина. «Я тебя уважаю не за то, что ты, шпана, начальника на свой юбилей затащил, а за твое умение. А ты — халтурить?» — сказал при этом тихо, но с яростью. Сенькин побледнел, шмыгнул носом над прясловским кулаком и твердо решил больше не халтурить. «Сунет еще наедит балду свою под ребро, кашляй потом и скреби жалобы... А за халтуру и Зосимыч не похвалит», — подумал он.

Пресс собрали через двадцать дней, запустили, опробовали. Он заработал неожиданно без шума, мягко, обильно обтекая восстановленной при ремонте принудительной смазкой. «Смотри ты! — удивился Лешев, — ремонт толковый — и пресс, как новый!» И вполголоса попросил Пряслова: «Дуй дальше без фальши и второй фронт посоветуй директору не закрывать. Он к тебе прислушивается». У Пряслова потеплело на душе, даже мрачноватые глаза отмякли улыбкой.

В ремонтных цехах привыкли к железному прясловскому графику, так как его копию и Кругов имел. Следил директор и за работой второго фронта, продляя его действие по обстоятельствам. Но самое главное — удалось ему захватить на соседнем прессостроительном заводе сверхплановый тысячестисоттонник. Пресс был за сутки доставлен на склад оборудования, и крутой в делах Пряслов уже готовил для него фундамент в технологической цепочке корпуса муфты.

Однажды выдался у Пряслова легкий денек. На планерку пришел рано, Галю застал одну. Давно к ней приглядывался: «Пропадает баба. Таскают, поди-ка, а она как будто основательные свойства в характере имеет: опрятна, деловита. Шустра. Скажет, как причеканит...»

— Скучаете, Галочка? — поинтересовался он.

— Скучаю, Иван Петрович, — стрельнула она взглядом, и он почувствовал, что стрельнула с острой заинтересованностью: видимо, знает о нем все, что хочет узнать одинокая женщина об одиноком мужчине, интересном для нее. Пряслов взял тоном ниже и предложил: «Тогда переждите планерку и уйдем вместе, а?»

— И куда же это мы уйдем... вместе? — тоже вполголоса спросила она.

— Куда захотите. Кино. Театр. Ресторан...

— Я подумаю.

— И выберете.

Она дождалась Пряслова. Пошли в ресторан: поужинали с шампанским, потанцевали.

— Я мужчина одинокий, не изношенный, обеспеченный жильем и мототранспортом. Правда, мне уже за сорок, но разница не больше пятнадцати лет... Верно? Положите на меня свой ласковый глазок, Галочка, — говорил он ей под грохот ресторанной музыки. Дух мужской силы исходил от него. Казалось, будто Пряслов знал наперед о ее готовности покориться, будто расплавлялась под его взглядом вся строгость, и она не жалела об этом. Галочка действительно узнала о нем все при его появлении в цехе. Ждала. Думала: «Не может не старый еще и одинокий мужик, при появлении которого ей становится жарко, мимо нее пройти!» И угадала. В ресторане сидели ровно через месяц после первого появления Пряслова в операторной.

Теперь, когда ее загад сбылся, она слушала его обволакивающий басок, и голова у нее шла кругом. «Мой... мой!» — ликовала она и понимая, что для наибольшей надежности предприятия надо отбить первую атаку, чувствовала, однако, что не сможет...

\* \* \*

Пряслов построил себе кабинетик прямо в цехе. Работать в одной норе с механиком, как Плакида, не захотел. Кирпичное строение, перекрытое железобетонными плитами, поднялось около прохода между цехами. С крыши к потолку корпуса протянулась вентиляционная труба, вход которой в помещение Пряслов перекрыл калорифером. Этим и спасался от удушливых газов автомобилей и тракторов, снующих по проезду.

Галя, оказавшись в тот великолепный августовский вечер в его квартире, сопротивлялась недолго. Но ходить к нему соглашалась неохотно и к себе приглашать не торопилась. Пряслов обдумывал ее поведение и находил правильным: «Не свихнулась еще женщина, хотя и холостякует давно». Оправдывал ее и привязывался к ней с каждой встречей все больше. Она забегала иногда в его кабинет — передать вызов Скоблова. Называла кабинет берлогой, позволяла обнять и поцеловать себя. Он, пользуясь сладкой минутой, приглашал ее на ночь к себе. Она соглашалась редко...

\* \* \*

Однажды вечером Скоблов, еще не причастившийся, толкнулся было к Пряслову, но дверь оказалась закрытой. Пожевав губами и поразмыслив, где бы мог быть в это детское еще время Пряслов, отправился к Латкину и, заворачивая за угол, остановился — по проходу быстро шла Галя. Скоблов затаился: «Сейчас пугну ее — чего, мол, припозднилась: не за мной ли, краляшечка?» Но Галя неожиданно для Скоблова остановилась перед дверью Пряслева. Постучала в нее лакированным ноготочком. Скоблов замер. Даже дыхание зачем-то затаил. Галя постучала еще раз. Дверь неожиданно приоткрылась. В щели, залитой светом, мелькнула темная фигура Пряслева. Он раскрыл дверь пошире, глянул туда-сюда по проходу и впустил нарядную гостью. Как обокраденный среди бела дня, стоял Юрий Зосимович за углом. И дыхание все еще таил. Крутнул головой, отдышался. Горечь разлилась в груди под засаленным галстуком. «Пока шалопаи рассуждают, настоящие мужики действуют! — сказал внутри злой голос. Но он тут же увернулся: — А может, любовь у них по всем правилам? А? Я-то так... в размягчении души находясь, воздумывал... Да и непорядочно на производстве...» — «Это что же — непорядочно, любить — непорядочно?» — спросил внутри злой голос. «Любить — порядочно, а соблазнять женщину — а? Зачем-почему?» — «Шляпа ты, пентюх, резонер слабосильный!» — прижулькнул его злой голос. Махнул рукой Скоблов и отправился по своим делам.

Пряслов сидел закрывшись, чтобы никто не мешал писать мероприятия по внедрению пузлового ремонта. Обложенный паспортами прессов, рылся в толще страниц, заполненных чертежами, описаниями и схемами, составлял перечень узлов и деталей, запас которых был ему необходим. Подергиваний Скоблова и первого стука Гали не слышал. Второй, более настойчивый, до него дошел.

— Уже, поди, забыл меня, Иван Петрович? — спросила Галя. — А нет ли тут у тебя кого, покажи-ка, миленький!

— Нету, нету. Видишь, на столе бумага бумаге нос чешет?

— Голову бедной женщине вскружил — и в бумажные кусты, да?

— Кусты подождут... Пойдем ко мне?

#### ГЛАВА ПЯТАЯ

Прошел год. Цех выправлялся. Продолжал действовать второй фронт. Заработал тысячестисоттонный пресс, и тысячник прекратил рванье щек. Пряслов заканчивал переборку прессов. Запущенные после

переборки прессы работали надежно. Тем временем «отремонтировали» в больнице и Демьяна Плакиду. Серым летним утром явился он к Скоблову: «Принимай с капремонта!» Скоблов выбежал из-за стола, обнял Демьяна, и они долго оставались так. Заблестели глаза у Скоблова, заблестели и у Плакиды: немало пережито вместе.

— Садись, дай на тебя взглянуть!

— Чего глядеть? Извоевался боец, в обоз пора.

— Какой еще обоз? Для тебя любую должность в цехе не пожалею!

— Я бы с радостью, да пожить охота. И в обозе — жизнь.

— Как сердчишко-то?

— Ресурс выработан, по инерции стучит, да бодрым духом подпираю. — Разговор становился тягостным для Плакиды. Он протянул переводную: «Инспектором в отдел механика пойду пока. Отдышусь, взбодрюсь, может, и приду еще к тебе, Зосимыч, если возьмешь...» — «Демьян Василич, полноте! Ты знаешь мое отношение к тебе — всегда буду рад, если буду...» — «Что, тяжело?» — «Всяко бывает».

Скоблов подписал переводную, отдал понурившись.

— Эх, какие бойцы уходят...

Расстроились оба. За окном шумел транспортный поток полумиллионного города, но они его не слышали. Для них было удивительно тихо... Долго после ухода Плакиды сидел Скоблов, понуриив голову.

\* \* \*

В воскресенье утром Пряслов проснулся поздно: субботу провел на заводе до позднего вечера. Летнее солнце горело на желтом полу. Рычали во дворе автомобили. Он решительно отмахнул одеяло, поглаживая густо обросшую волосом грудь, поприседал и попрыгал на маленьком коврикe, встал под холодный душ. Вода шла с напором, была очень холодна — сопротивляющаяся холоду кровь словно бы кипела в жилах. Растираясь до красноты, пробивающей смуглую кожу, подумал о Галя — что-то она сейчас подделывает? Смешно, однако в ее квартирке ему не пришлось побывать до сих пор. К нему она не заходила уже больше недели, и он сильно скучал. Одеваясь, поглядывал на свою обнову — бордовый поблескивающий телефон. Кругов помог пробить на ГТС, чтобы заводские диспетчера в случае аварийного простоя прессов могли в любое время суток вызвать его в цех. Списки всех своих подчиненных с адресами и телефонами, у кого они есть, Пряслов держал и на работе, и дома. Случалось, что и ночью выводил из железного стойла свой ухоженный «броневичок» — горбатого «Запорожца» — и метался по городу, собирая нужных людей на аварию.

Усевшись в новенькое низкое кресло и взяв телефонную книгу, полистал. И вдруг вспомнил — проговорилась как-то Галя: «Я позвонила...» — «Откуда у тебя телефон-то? — спросил тогда и добавил: — Ах ты, пигалица!» — «Муж оставил», — ответила она. «И где же твой муж?» — «Муж объелся груш», — отчеканила Галя, и по ее курносому лицу промелькнула тень. Правда, она тут же справилась с собой, приникла к нему, и ему стало не до расспросов. Да он и в другой обстановке не набрался бы духа спрашивать, так как чувствовал, что это ей неприятно. «А позвоним, а позвоним!» — забормотал он, нашел букву «ж», провел пальцем — Жучковой не было, а Жучков один-единственный присутствовал. «Наверное, тот самый, который объелся груш», — подумал с улыбкой и стал набирать номер. Но перед последней цифрой палец его замер. «Явлюсь-ка я сам, своей собственной персоной». Посмотрел адрес — это было довольно далеко, в центре почти. «Под высоким потолком живет, надо же!» Орлом слетел по лестнице, вывел своего безотказного конька-горбунка и поехал.

Во дворе длинного пятиэтажного дома пахло свежим хлебом — у окошка хлебного магазина разгружался автофургон. Пестрели «Ла-

ды» у раскрытых ворот одноэтажного ряда гаражей. В мусорных ящиках рылись медлительные голуби. Поставив машину в тени раскидистого клена, взбежал на четвертый этаж. Вот она, ее дверь. Аккуратная. Обита улучшонкой, имитирующей дорогой шпон. Сияют шляпки обойных гвоздей. Фабричного изготовления номер привинчен. За номером белела какая-то бумажка. Пряслов вынул, развернул: шея его побагровела. «Привет, Галча! Был в субботу, не застал. Напиши, когда будешь, найду. Целую ручки-ножки. Сева». Пряслов смял записку. Захотелось немедленно высадить дверь, разорвать воздух парой соленых фраз, глянуть в глаза, умеющие так широко раскрываться навстречу его взгляду. Но сдержался, успокоил себя. Постоял минуту-другую, расслабился, ткнул в розовую кнопку звонка. Раздался мелодичный звон. Шагов не было слышно, и замок не щелкнул — дверь распахнулась, словно была не заперта. На ее плечи был накинут пестрый халатик — он сполз. Слетела с левого плеча бретелька ночной рубашки.

— Ты?

— Я...

— Как это?

— Что это еще за Сева?

— Какой Сева?

— Вот этот? — развернул он записку. — Который ручки и ножки...

Она разом прочла коротенький текст. Страх опал холодом.

— А-а-а, этот... — протянула она смешавшись. «Как это я проглядела записку-то, ду-у-ура! Вечно на лестничных площадках темно, начальство живет — на лампочку жмутся кошельки раскрыты! Севка, балбес! Знает, мог бы в почтовый ящик бросить...» — пронеслось в мыслях. — Вместе учились.

— Где?

— Мм... в школе.

— Врешь!

— Ну-у... на курсах. Какая разница?

— На каких курсах?

— Ккройки и шитья, — брякнула она и порозовела, даже головой укоризненно качнула — вот, мол, невпопад ляпнула!

— Что же, туда мужиков принимают?

— Принимают.

— И что же он шил-кроил?

— Брюки...

— Какие брюки? — наступал он свирепея.

— Дджинсы, — задрожавшим голосом ответила, отступая. Пятилась она давно, и таким образом они уже вошли в комнату. Пряслов метнул взгляд по стенам: картинки — полуголые мужики и бабы. В постели. На сцене, на носочках стоят. На пляже. Голая баба перед разобранной постелью распустила волосы...

— Какие дджинсы?

— Мм... мужские. — Он уже загнал ее в угол. Отступать было больше некуда. И в это время вторая бретелька съехала с ее плеча. Пряслов подхватил соскальзывающую рубашку мгновенным движением тяжелых рук, вернул на место, и нежная жалость к запутавшейся подруге переполнила его.

— Иди, оденься, — сказал он как можно мягче, — я на машине, загорать поедем, купаться. — И слегка подтолкнул ее к дверям спальни. Она послушно ушла и зашуршала одеждой. Вскоре, однако, природная живость восстановилась в ней, и она тихонько запела что-то таким тоненьким и приятным голосом, что у Пряслова дыханье перехватило.

С пляжа уехали к Пряслову. Утром, пораньше, пока дом не проснулся, вместе ушли на работу. Шли прогулочным шагом, чтобы подольше идти. Темп задал Пряслов. Едва вышли из подъезда, спросил:



«И долго мы по-воровски будем?» — «Не знаю. А что?» — «Ничего. Переходи ко мне. Распишемся. Свадьбу закатым. Еще и пацанов нарожать успеем. Нрависься ты мне. И я тебе по нраву будто бы. Решай». — «Я подумаю». — «Чего тут раздумывать? А-а! Возраста моего испугалась... Так я — посмотришь — тебя перелюблю». — «Вот огоршил. В загс ему. Боишься, обману?» — спросила ядовито. «Дурочка. Я твоё достоинство должен ценить. И цену. Да что я тебя уговариваю? Мужу, известно, небо — церковь, месяц — поп, лужок — спальня. Загс нам не указ. Захочешь — сама поволочишь. Поволочишь?» Она молчала. Но молчание её — Пряслов почувствовал это каким-то непонятным ему образом — становилось все мягче, теплее. Он затаил дыхание, ожидая: сейчас прижмется к нему её плечо...

#### ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вот и снова Никита Пчелин шел по своему заводу. Диплом топорчился во внутреннем кармане пиджака. И ожидал Никиту тот же самый участок, где начинал он после школы штамповщиком. Тяжелые прессы поднимались высоко и стояли густо — железный лес. Синеватый полумрак плыл под крышей. Лучи солнца, влетающие через остекление, четко обозначились в плотном воздухе. Пахло машинным маслом, железом и застаревшей эмульсией из емкостей соседнего механического цеха. Никита приостановился около 630-тонного прессы двойного действия, прислушался к его рокоту, уловил стон вытягиваемой стали, дребезг плохо привинченной крышки на каком-то из люков. Лицо его посветлело. Тепло узнавания вытеснило неуверенность и невольную тревогу перед будущим.

Никита пошел в глубину участка, разыскивая железную будку, где размещались при нем мастера. Ее не было. Взгляд то и дело задерживался на новых прессах, выделяющихся свежестью краски. И знакомых лиц не было видно. Вот у стены внутренняя кирпичная пристройка — «Старший мастер». Никита подошел, тронул дверь — настоящую деревянную дверь, какие бывают в обыкновенных жилых домах, — открыл ее, осмотрел помещение, шагнул за порог. За столом, заваленным нарядями, сидел, развалясь, пожилой мужчина, плохо выбритый, с худым лицом и наглым взглядом серых глаз. Из-под замурзанного письменного стола торчали ноги в модных, но до неприличия грязных ботинках. Засалившиеся внизу брюки обвисали на тощих щиколотках. «Лещев, кажется, Иван Федорович или Федотович», — вспомнил Никита.

— Пчелин? — хрипло спросил Лещев.

— Я.

— Во вторую пойдешь.

— Хорошо.

— Там увидим, хорошо или плохо... В прессах-то смыслишь чего?

— Институт кончил.

— Перевидал я вас, мыслителей, больше, чем тараканов.

— Я до института три года на этом вот участке отработал.

— Кем это?

— Штамповщиком, наладчиком...

— Мм... а-а-а! Припоминаю, на учебу утек... Никита, что ли?

— Никита Петрович.

— Пекись не об отчестве, а об обществе. А я — Лещев Иван Федорыч, поди, забыл?

— Нет, помню.

— Величают, пока план получают... План в мешке — величалкой по башке, нету плана — под задницу Ивана!

— Смене вы меня представите, Иван Федорович?

— Представляю — под мешок подставляю... — Лещев сидел, не меняя позы, все так же торчали из-под стола его грязные ботинки. В ка-

бинете стояли в несколько рядов сбитые между собой стулья, но сестра он не предлагал. По одному, по двое заходили рабочие первой смены — отмечали в книге с кудрявыми углами сделанную работу. За одной толстушкой с цыганскими глазами Лещев перепроверил, быстро выхватил из кармана ручку и исправил цифру. «Что это, Иван Федрыч?» — неуверенно запротестовала она. «Что-полно, села муха на плечо и целует горячо!» — приняв прежнюю позу, ответил Лещев. Толстушка виновато вздохнула и вышла.

Постепенно собралась вторая смена. Усаживаясь, все поглядывали на Никиту. Вошел грузный мужчина. В больших и ясных глазах его чувствовалась непроходящая усталость. Никита узнал его — вместе работали. «Петр Федотыч! Здравствуй, жив-здоров, как вижу?» — «Здорово, здорово, живу пока». Они пожали друг другу руки. Никита обрадовался — хоть один человек знакомый нашелся, будет на кого опереться.

— Все собрались? — оглядел комнату Лещев.

— Все, — ответил кто-то.

Лещев медленно выпрямился на стуле, утянул ноги под стол, представил:

— Ваш новый мастер — Пчелин Никита... Петрович. Инженер. На нашем участке до института работал. Штамповщиком. Наладчиком.

Все слушали.

— Задание — вот оно, — Лещев хлопнул рукой по бумажке. — Всем все ясно?

— Ясно, — ответил за всех Петр Федотович.

— Вперед!

Проводив глазами вышедшего Лещева, Петр Федотович взглянул на Никиту и негромким голосом распределил рабочих по операциям. Все разошлись. «Пошли, что ли, — пригласил Никиту старый наладчик, — пресса-то наши помнишь... фу-ты ну-ты... Помните, Никита... Петрович?» — «Помню, как же! Правда, тут новые без меня появились, но похожи на наши. Я закручу второй пролет, а вы — первый, хорошо?» — «Ладно, чего там...»

Никита вышел последним. Делать ему пока что было нечего. На втором пролете молодой плечистый парень сноровисто подтягивал крепез длинным, как лопата, ключом, подмурлыкивая себе под руку, включал главные двигатели, проверял прессы на рабочем ходу. Доносился ляг пускателей, визг проскальзывающих при пуске ремней, рокот шестерен, подвывая, медленно раскручивались маховики, стреляли первые вырубывы. «Никита Петрович, тристапятнадцатитонный не идет, тормоз не держит!» — весело доложил он вскоре. Тут же подошел Петр Федотович: «На шестисоттридцатитонном муфта дымит, пятисоттонник не тянет...»

Никита бросился в службу механика. На небольшом плацу громоздился маховик, за маховиком Никита увидел ряд закрытых захватанных дверей. Он открыл первую попавшуюся и нос к носу столкнулся с атлетом в полураспахнутом комбинезоне — лицо худое, глаза твердые, на голове пышные золотые кудри, едва не достающие до плеч.

— Вы — новый мастер? — спросил, вышел и прикрыл за собой дверь.

— Да...

— Что вас волнует?

— Вытяжной тристапятнадцатитонный.

— И что он?

— У него ползун падает. Пресс нужен срочно.

— Успокойтесь, не волнуйтесь, — от волнения кровяное повышается давление!

— Это не все...

— Что же еще?

— На шестисоттридцатитонном муфта дымит, пятисоттонник не тянет.

— О! Это уже много!

— Вы что, один?

— Почему один, мы все здесь.

— Кто же все?

— И Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, и счастья баловень безродный, полудержавный властелин! — продекламировал атлет со вкусом. Никита откровенно улыбнулся.

— Властелин — это ты, что ли?

— А кто же!

— Ну и где же Шереметьев благородный и... эти все?

— Щас. — Атлет встряхнул золотыми кудрями и издал короткий пронзительный свист. За его спиной тут же открылась уже известная Никите дверь, и из нее выскочили четверо парней: первый — длинный и бледнолицый, второй — короткий, в очках, третий — коренастый с катающимися по скулам желваками и четвертый — неприметный.

— Вы, — отделил атлет очкастого и неприметного, — на шестисоттридцатитонник. Муфту отрегулируете сверху, снимать не дам. Идите. — Твердый взгляд уперся в оставшуюся пару. — Вы — на пятисоттонник.

— А что там? — спросил длинный с бледным лицом.

— Упадение ползуна. Да поживей там — работы много будет сегодня.

Теперь твердый взгляд уперся в Никиту: «Идем же, мастер, на твой тристапятнадцатитонник. Полки ряды свои сомкнули, в кустах рассыпались стрелки, катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки...» Стихи звучали чеканно, атлет декламировал на ходу — такая, видно, была у него манера общения, продолжавшая удивлять Никиту. Атлет полез вверх по навесной лестнице пресса, продолжая читать, голос его вознесся, и Никита остался внизу один. Минуты ползли. Даже не ползли, а еле-еле перемещались по своей ординате. Никите казалось, что прошло полчаса, а прошло всего пять минут. Нетерпение нарастало. Никита скользнул взглядом по участку — вокруг стола, где в обеденный перерыв, видимо, играли в домино, плотно сомкнувшись спинами, сидели рабочие. Смеялись. Слезы досады закипали в горле, Никита подавлял их и смотрел, смотрел вверх, где пылала золотокудрая голова.

— Эй! Скоро там?

— Завтра будет! — свесил голову атлет.

— Съел? — спросил себя Никита и побежал к большому вытяжному. Очкастый с неприметным дружно работали наверху. На пятисоттонном дело было будто бы ближе к завершению. Длинный сигналил сверху жестами, скуластый толкал ползун нажатием кнопок.

— Готово? — спросил Никита у скуластого.

— Допревает, — криво улыбнулся тот.

Проходя мимо стола, где сидели и разговаривали рабочие, Никита приостановился и прислушался.

— Тут она ему и говорит, — со сдерживаемым смехом рассказывал кто-то, — ну-ка, мальчик, расстегнись! — хохот перекрыл рассказчика, и Никита снова кинулся к тристапятнадцатитоннику. «Самые ключевые прессы стоят, из-за них операций десять нельзя делать, — тервался он. — Ну что же там?» И снова задрал голову. Медленно ползли минуты. Пожалуй, никогда и никого в своей жизни не ждал Никита с таким нетерпением. Даже Людочку из 10 «Б» тогда, пять лет назад, ждать было легче...

Прибежал с планерки Лещев, обошел участок. Подскочил — лицо в пятнах: «Ну, сидьмя сидим, да? Его прислали, понимаешь ли, дело делать, а ему еще пеленки подкладывать надо, слюнявчики подвешивать!» — «Не сгожусь — выгоните», — ответил Никита. «От младенца

куда деться?» — уже спокойнее пошутил Лещев. «Что, сдается пылкий Шлиппенбах?» — раздался над ухом декламирующий голос атлета. «Сдаюсь, если пресс отдаешь». — «Отдаю — к моему интерьеру не подходит. — И атлет запустил пресс, проверил его на холостом ходу и с заготовкой. — Примите уверения в нижайшем к вам почтении», — раскланялся он, размахивая воображаемым плащом, и ушел. Вскоре его помощники отдали остальные два пресса. Застолье рассосалось. Лещев обошел пресс за прессом, переговариваясь с людьми, с кем-то смеясь, кого-то накачивая. Домой ушел не попрощавшись...

Никита вздохнул облегченно. Впервые за смену спокойно обошел участок, проверяя, как выполняется лещевское задание, написанное размашистым почерком и придавленное старомодным железным телефоном. Вдруг его взгляд наткнулся на женщину, окруженную пестрыми клешнями роботов и стоящую с упертыми в бедра руками.

— Что у вас?

— Робот не робит.

— Почему?

— Не знаю, почему.

— А что с ним?

— Клешня хватать разучилась, — сказала она, подбоченясь и поигрывая подведенными глазами. Никита снова отправился за атлетом.

— Снова тучи надо мною собрались в тишине!

— Нужен ты мне, полудержавный!

— Куда?

— На роботы.

— Пошли.

Атлет проверил работу пресса, отрегулировал ограничитель хода.

— Шуми, машина, шибче-ка, вовек чтоб не смолкла! — продекларировал он и отправился восвояси.

— Эй! — позвал Никита.

— Не «эй», а Ярослав Иваныч.

— Ярослав Иваныч, а клешню кто настроит?

— Все, что мог, я уже совершил. Зовите наладчика и электрика.

Никита побежал за Петром Федотовичем. Его было не узнать: лицо в мелких алмазных каплях, в глазах тихая ярость. «Минутку! — попросил он, доделал наладку, передал пресс штамповщику, подошел к Никите: — Что хотели, Никита Петрович?» — «Робот. Клешня не держит».

Похлопав, как знакомого пса по загривку, клешню робота по кожуху, Петр Федотович запустил всю систему для проверки. «Магнит не держит. Электрика зовите, а я — на поддон. Подстроить надо, много рвет на вытяжке».

Никита отправился в энергослужбу. Там его встретил длинный парень в свежих джинсах и вельветовом батнике.

— На роботе клешня магнитом не держит, — сказал Никита, вытирая пот со лба. Электрик молча взял свой аккуратный железный чемоданчик и вышел в цех.

Магнит сдался быстро, но клешня все равно работала плохо, роняя заготовки через два-три хода.

— А что теперь у тебя? — допытывался Никита.

— Контрольные датчики захвата барахлят.

— А не снять ли их совсем — пусть бесконтрольно хватает, — предложил Никита. Электрик остро взглянул на него, подумал.

— Снять, что ли, действительно? Для перестраховки стоят.

— Была не была, снимай!

Клешня заработала. Они стояли рядом, считали ходы без сбоев, поглядывая друг на друга с удовлетворением. «Ты — мастер?» — раздался вдруг над ухом Никиты требовательный голос. «Я», — обернулся Никита. Лысый мужчина в спортивной куртке сверкал глазами. Кула-

ки его были сжаты. «Крышка где?» — «Длинная?» — «А-а-а! Знает кошка!» — «Через час-полтора будет». — «Что-о-о? Да через час тебя на заводе не будет, молокосос! Полчаса сроку — сам проверю. Сорвешь — хана тебе».

«Ничего себе, начинается карьера...» — подумал Никита и побежал в зачистное отделение за крышкой. Отправив первую небольшую партию, возвратился на участок и наткнулся на штамповщика, жилистого и мрачного, праздно сидящего около пресса.

— В чем дело?

— А что?

— Чего сидишь?

— А скушно.

— Как это — скушно?

— Скушно и все. Лошадиная работа. Надоело. Когда-нибудь дойдет до кого, что лошадиная это работа?

— Придумаем что-нибудь со временем, но работа есть работа. Тебе тысячу корпусов обрубать, а ты сколько сделал?

— Двести.

— Двести... Устал, что ли? Не по силам тебе, может быть, так сказал хотя бы!

— Это мне-то не по силам? — возмутился тот. — Да я эту тыщу за полсмены!

— Ты?

— Я! Что, тощий, дак веры нет?

— Да я ничего, только трудно за полсмены-то.

— Ха! Хошь сделаю?

— Да не успеешь уже, надсадишься.

Ноздри у штамповщика раздулись, глаза округлились, плечи развернулись, кулаки сжались:

— Я все могу, запомни, запомни Витьку Сидорова, он тя удивит! — Сидоров вскочил, швырнул тяжелую заготовку в штамп, попав точно на фиксаторы, яростно дакнул черные пультовые кнопки. Никита наблюдал за ним и удивлялся. Сидоров работал в таком темпе, что маховик пресса временами начинал терять обороты. Никита прикинул по секундной стрелке часов темп работы, удивился про себя: «Смотри-ка ты! Если выдержит до конца смены, действительно норму даст!» И снова потянули его к прессу с роботами — пресс опять стоял. Глазастая сидела за доминошным столиком.

— Что опять?

— Заготовок нет.

— А это что же?

— Так они ж не влазят! Сами проверьте, может, всунете?

Никита проверил. Заготовки действительно не влезали в приемное устройство робота-подавальщика. Никита схватил заготовку и побежал в заготовительный цех. Толстощекий раздобревший мастер заготовительного молча выслушал несокрушимые аргументы Никиты и, выждав паузу, сокрушил их кратко: «Лопай, что дают!» Никита начал снова и снова получил в ответ: «Лопай, что дают!» Побледнев от сдерживаемой ярости, он прекратил разговор и ушел. Открыл кабинет. Нашел технологический процесс злосчастной крышки. Линейкой, обнаруженной в ящике стола, проверил фактические размеры и записал отклонения. Разыскал контролера. Сонная девушка с толстой книгой не сразу поняла его. Он терпеливо объяснил. Разобравшись, она молча выписала браковочную, и они вместе нашли щекастого. На толстых его щеках выступил мутный пот. Через час Никита получил ящик годной заготовки. Пресс с роботами снова заработал.

Смена закончилась совершенно неожиданно. Никита увидел Петра Федотовича, устало бредущего с участка. «Петр Федотыч, куда же это?» — «В умывальник, Никита Петрович». Никита посмотрел на ча-

сы. Да, пора открывать кабинет, надо дать людям записать работу. «Записать работу... Вот архаизм!» — подумал он. Люди уже стояли у дверей. Молча ждали. Не от них зависела форма учета работы, которая возмутила в душе Никиту, и он с укором в свой и в чей-то еще адрес, чей — он пока не знал, шелкнул замком, вытащил лохматую книгу, раскрыл ее на нужной странице. Последней записывала женщина с длинной крышки. Никита проверил. Цифра была раза в два больше фактической. «Откуда же столько?» — придвигаясь, спросил он. «А сколько держали меня? За это кто же будет платить?» — придвинулась к нему и она. «Не приписывать же!» — «А как же тогда — за трешку работать?» — придвинулась она еще ближе. Белые локти лежали на столе. Близко-близко шевелились покрашенные ресницы. Оглушил запах наработавшейся женщины. Прямо под носом у Никиты оказалось ее глубокое пышное декольте, и он с ужасом заметил, что смотрит туда. Лицу его сделалось жарко. Он взъерошил жесткие волосы, поднял глаза и увяз взглядом в омутках, окруженных черными тычками... «Верой меня зовут», — сказала она, приглушив голос, и еще придвинулась, хотя ближе придвинуться казалось невозможным. Ее пухлая рука легла на его руку... «Верка! К новому мастеру прилипаешь?» — раздался вдруг спасительный голос Сидорова. Никита отполз со стулом в угол, едва не свалив телефон. «Молчи, болтун, у нас свой разговор», — не меняя позы, процедила раздосадованная женщина. «Говорила кошка с мышом, чтобы не гулял нагишом!» — весело перебил Сидоров ее вязкий голос, бесцеремонно выхватил книгу с кудрявыми углами и записал работу.

— Как с нормой? — спросил Никита.

— Тыща заводу и еще одна — для мастера!

— Ого! — удивился Никита.

— Иди, иди, нечего тут! — подтолкнул Сидоров Веру. Она подчеркнуто неторопливо распрямилась и вышла, демонстративно отодвинув его. Сидоров стряхнул каплю с носа, взглянул на Никиту испытующе, спросил вполголоса: «Может... помешал?» — «Да нет, что ты! Наоборот — спасибо тебе, а то она тут с припиской прижулькнула меня». — «Она это может! С ней ухо остро держи — окрутит, омутит и отчества не спросит! — доверительно сказал Сидоров и добавил: — Мне еще умыться надо!» — «Счастливо!»

Дверь за Сидоровым захлопнулась, а Никита еще долго сидел, изучая записи рабочих и сверяя их с цифрами задания, данного Лещевым. Кое-что сходилось, но мало. «Ох и нажучит меня Лещев завтра!» — подумал он. Ноги гудели. В мыслях прокручивались запыленные сцены первого рабочего дня, отработанного им.

На участке было темно. В установившейся тишине звучно заскрежетал дверной ключ. Аварийное освещение тускло обозначало темные громады прессов. Казалось, что теперь они стоят тесней, что есть в их сплочении таинственная сила. Прессы напоминали старинное войско перед атакой, когда все объяснено и скомандовано, и остался последний взмах, последний знак перед грозным топотом атакующей конницы, закованной в тускло поблескивающие латы. Никита улыбнулся своей фантазии, но шаги ускорил, желая поскорее выбраться на свежий воздух. Он шел между громадами, и его постепенно охватило другое чувство — чувство близости множества находящихся рядом людей: конструкторов и копировщиц, заливщиков и фрезеровщиков, сварщиков и монтажников и еще многих, многих, чей труд, ставший этими прессами, жил теперь своей собственной жизнью и смыкался с мыслями и желаниями, надеждами и мечтами его, Никиты Пчелина. Он среди своих, они понимают его и помогут ему во всем. На них можно положиться. Ему стало спокойно.

На трамвайной остановке было много народа. Люди стояли густо и казались плотной серой массой. Но вот он слился с этой массой и

стал различать лица и фигуры. Рядом с ним женский голос спросил: «Ну как тебе этот новый мастер?» — «Ой, так бы его и съела! Но робковат еще...» — отвечал вязкий голос, явно принадлежавший Вере, сделавшей сегодня так мало длинной крышки. Никите снова стало ужасно неловко, и он потихоньку перешел на другой край остановки, чтобы не попасть в один вагон с этими женщинами.

Продавливая ночь фонарем, горящим во лбу первого вагона, подошел трамвай, втянул в себя людскую массу и, завывая двигателями, унесся в ночь. Никита стоял у заднего окна. Перед его глазами чернело небо, усыпанное звездами, словно искрами неведомого костра. Он попытался вспомнить названия некоторых звезд, выделить знакомые созвездия, но звезды плыли перед глазами, как зернышки проса в закипающем котле... «Вот где номенклатура... Побольше нашей», — вяло думал он, а душно тепло трамвая охватывало его все плотнее. Он клевал носом, проваливался в сон, поднимал голову и снова клевал носом...

#### ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Женщина, во всем равная мужчине... Какая прекрасная идея! Сколько социальной энергии пропало в обществе в связи с ее запоздалой реализацией! Но проникновение женщин в области мужских монополий почему-то вызвало проникновение мужчин в монополии женские, а прибавление рабочей силы в обществе за счет женщин обернулось ее убылью, так как женщины потеряли возможность рожать больше детей и успевать их воспитывать... К тому же в ходе эмансипации женщин и феминизации мужчин сохранились и полярные представители полов — истинные мужчины, истинные женщины, и возникли трагедии поиска между ними... Вообразите-ка на минутку город — наш город хотя бы. Четверть миллиона мужчин и женщин, перегруженных заботами и стремлениями... Легко ли тут найти друг друга, если даже в собственной жене порой половину жизни ищешь черты истинной женщины?..

Васюков возвращался с аэродрома, куда его увезла на семейной «Ладе» жена Лидия — руководящий работник городского информационного центра. Сбросив элегантные краги в «бардачок», она взяла «дипломат» и сказала: «Сережку у своей мамы не забирай, он у тебя с голоду умрет или получит катар желудка. Чтобы ты сам не запсел, к тебе послезавтра приедет мама. Приезд согласован».

Она быстро прикоснулась щекой к его щеке и ушла. Он сел за руль и мягко тронул с места (Лидия всегда «рвала», как гонщик).

Поворачивая на Красноармейский проспект, Васюков обогнал невысокую женщину и затормозил.

- Простите... Вас... подвезти?
- С чего вы взяли? — остановилась она.
- Почувствовал.
- Вот как?
- Да. Ехал себе мимо и неожиданно почувствовал. Телепатия.

Она смерила его насмешливым взглядом, отметив про себя, что мужчина крупный, ухоженный, элегантно одетый, спокойный, с доброжелательным взглядом, не перебегающим с лица на колени...

— Как ни странно, вы угадали. Но я и на трамвае доеду («Слишком ухоженный... подкаблучник, — решила она. — Его эмансипе в отлучке, вот и блефует...»).

— В этом трамвае помнут всю вашу нежную экипировку — садитесь!

- Вы даже не спрашиваете, куда ехать?
- Мне все равно.
- И приставать не намерены?
- Разве я похож на такого?
- Внешность обманчива.

— Но вы же чувствуете, что не буду?

— Чувствую, что будете, хотя и не сегодня...

— Вот и воспользуйтесь этим, — мягко посоветовал он.

Она села. Он тронул, искоса поглядывая на нее.

— Ремешок накиньте. — Притормозив у светофора, спросил: — Куда же едем?

— «Горку» знаете?

— Что это?

— Ателье.

— Найдем...

У деревянного дома, напоминающего частную усадьбу, он свернул во двор. Двора не оказалось, дорога шла мимо. Он остановился и сдал задом к крыльцу.

— Буду ждать.

Она вышла скоро со свертком. У выезда на улицу Аванесова он притормозил: «Может быть, на пляж?» Она колебалась. «Смелей!» Она согласилась...

Роман их продлился ровно месяц, пока Лидия была в командировке. За это время Васюков успел уговорить Галину Жучкову уйти из сберкассы на завод, устроив ее в свой цех оператором. Когда она поняла, что он тоже не «настоящий», что интуиция не обманула ее тогда, у дверцы его машины, она сильно не огорчилась. Завод ей понравился. «Неужели здесь, в такой кузнице, настоящих мужчин не куют?» — подумала она.

Разрыв произошел прямо на рабочем месте. Выйдя в операторную, Васюков наклонился к ней, пытаясь обнять.

— Не надо.

— Мм?

— Больше не надо.

— Почему?

— Хорошего понемножку.

— А любовь?

— Я в вас разочаровалась, Пал Василич.

— И с работы уйдешь?

— Завод не ваш — советский. Мне тут нравится.

В это время кто-то открыл дверь. Васюков сделал вид, что шел на выход...

Галя сглотнула, комок застрял в горле.

«Ну, все, все. Отрезано. Ненастоящий мне не нужен». — Она смахнула слезу, поворожила у зеркала, вделанного в селекторный пульт, за которым работала, и лицо ее обрело утраченное было на миг равновесие. Пока только лицо...

#### ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На декаднике Кругов объявил, что его переводят в министерство. Начальники зашумели. Самый смелый из них спросил:

— А кто вместо вас?

— Без директора не останетесь, — уклончиво ответил он и едва заметно улыбнулся.

Скоблов с декадника отправился в обход по цеху. В кабинет Васюкова зашел расстроенный. У Васюкова сидел, закинув ногу на ногу и подчищая ногти специальной пилочкой, Семенов. При появлении Скоблова они умолкли. Скоблов сел за приставной стол, раздраженно посмотрел на невозмутимого Семенова. Тот, сдерживая улыбку, продолжал обработку ногтей.

— У ремонтников опять... дате. Кошкин, Кузякин... Сенькин под газом... мерзавцы! — как бы удивленно сказал Скоблов и посмотрел на Семенова.



— Старый разговор, — равнодушно протянул Семенов, не отрываясь от ногтей. — На смене мастер Фимка! — Слова «мастер Фимка» Семенов подчеркнул интонацией. Стрела попала в цель. Скоблов стукнул кулачком об стол и крикнул: «Галя!»

Вошла Галя.

— Фимку сюда!

Галя молча ушла. В ожидании Фимки все продолжали свои занятия. Скоблов закурил, глубоко и часто затягиваясь.

Развязно вошел рослый, рыжий, разлохмаченный, в заношенном костюме Фимка. Левый глаз его чуть заметно косил.

— Садись, — указал Скоблов на стул рядом. Фимка сел, бережно уложив большие темные руки к себе на колени. Прокашлялся. Следом вошел хозмастер Николай Филаретович Гукин, работающий пенсионер. Филаретыч, как звали его обычно.

— Разрешите вопрос, Юрий Зосимович? — спросил он.

— Подожди, — прервал его Скоблов.

Вошел мужчина средних лет:

— На работу принимаете?

— Да, да, посидите, — притормозил Скоблов и его. — Как же так, Фима? — спросил он скорбно.

— А что такое, Юрий Зосимович?

— Как что? Кошкин и Кузякин даты, Сенькин под газом... Где Латкин?

— За бронзой уехал.

— Где Пряслов?

— У строителей.

— А ты что же, сразу пьянку решил организовать?

— Да что вы, я ни сном ни духом!

Семенов поднял глаза на Фимку и символическим движением холеной руки отвел от своих чутких ноздрей Фимкино дыханье. Скоблов заметил эту демонстрацию и вкрадчиво спросил:

— Скажи честно, Фима, а сколько ты сам выпил?

— Я?

— Ну не я же!

— Я не пил...

— Кого ты хочешь обмануть? — Аргумент был, видимо, сильный — Фимка помрачнел.

— Вчера вечером я...

— И сколько же ты выпил? — повеселел Скоблов.

— Кубанскую продавали, две бутылки взял... В одной вот столько осталось, — показал Фимка с помощью мизинца и большого пальца.

Скоблов покачал головой, попросил Васюкова:

— Налей водички.

Васюков достал из холодильника графин, налил в тонкий стакан газированной воды, поставил перед Скобловым. Скоблов взял стакан. Рука его дрожала. Вода расплескивалась. На помощь правой пришла левая рука. Скоблов припал наконец-то к стакану и жадно высосал воду. Вытер губы рукой. Закурил.

— Один пил? — испытующе посмотрел он на Фимку.

— Один.

— Сколько во второй-то осталось? — с уважительной интонацией спросил Скоблов умиротворенно. Фимка показал. Скоблов пригляделся...

— Ну богатырь! — восхитился он. — Мне никогда такую дозу не осилить бы!

Фимка с шутовской гордостью выгнул грудь так, что очередная пуговка на его рубашке, давно потерявшей свой первоначальный цвет, расстегнулась. Семенов и Васюков незаметно обменялись взглядами и улыбнулись.

— Так ты, значит, на работе не выпивал? — спросил Скоблов, окончательно успокоившись.

— Ну вот ни столечко! — радостно поклялся Фимка.

— Ну иди! Разберись, кто водку принес, и подготовь распоряжение на виновников, — похлопывая Фимку по плечу, заключил Скоблов.

Фимка, сияя, вышел нетвердой походкой.

Неожиданно встал мужчина средних лет, пришедший устраивать ся на работу. Подошел к приставному столу и сказал уверенным голосом:

— Фролов, Анатолий Иванович — ваш новый директор...

Васюков и Семенов попытались вскочить, Фролов жестом остановил их. Скоблов встал, глаза его округлились под очками, рука предательски задрожала у бедра. «Просто назвать себя или руку подать?» — подумал он лихорадочно. Руку протягивать почему-то не хотелось, но Фролов медленно подал свою через стол, и Скоблову пришлось ее пожать...

Следующим утром в кабинет Васюкова на планерку пришел новый директор и привел с собой красавчика в безупречной финской тройке и модном галстуке. Красавчик улыбнулся.

— Ваш новый начальник. Сергей Сергеевич Лунин. Руководитель молодой, способный. Женат. Двое детей. Закончил заочно политехнический институт. Свою «тронную» речь произнесет без меня. До свидания, — сказал директор и вышел.

Тихий шелест пролетел по рядам. Улыбка погасла на лице Лунина. Румяное лицо налилось свекольным цветом. Стало тихо. Только Филаретыч приборматывал что-то, шлепая бледными губами. Сосед пихнул его в бок. Филаретыч вскочил.

— Слушаю вас, товарищ начальник! — по-фельдфебельски выкрикнул он.

На лице Лунина разгорелась улыбка, ослепительно засияли жемчужные зубы, из розового рта вырвался густой отрывистый смешок. Небрежным жестом Лунин погасил неожиданный энтузиазм Филаретыча, улыбка исчезла, румяное лицо снова побурело, глаза налились кровью. Наступила абсолютная тишина.

— Речь моя короткая. Вас много, я — один. Ваша задача — прокормить одного бездельника — меня. Моя задача — заставить вас работать и обеспечить вам эту возможность. Ко мне, разумеется, есть вопросы?..

Кто-то издал короткий неуверенный звук.

— Вечер вопросов и ответов я назначу позже, — успокоил Лунин и продолжил: — Я посмотрел дефицит. Он большой. Если будут срывы, виновников я найду и отниму у них часть премии. Я это умею — и находить, и отнимать. Я посмотрел анализ по трудовой дисциплине. Пьянство прекращайте. Прежде всего вы, здесь присутствующие. Жалеть не буду, — последовала длинная пауза, сделавшая тишину еще глубже. — Сейчас останутся хозмастер и зампотех. Остальные свободны. — Налитые кровью глаза внимательно следили, как стремительно пустеет кабинет. — Семенов?

— Да.

— Вам — неделю сроку. Подготовьте обоснование на первую категорию нашему цеху.

С десяток вопросов мгновенно возникло в мозгу Семенова. Но он предпочел сдержанно кивнуть и с достоинством удалиться. По дороге в кабинет он, к своему удивлению, успел ответить на все десять из десяти возникших вопросов...

Проводив Семенова внимательным взглядом, Лунин перевел глаза на Филаретыча.

— Пошли, Николай Филаретович! — Лунин вышел из-за стола, взял старика под руку и вывел в цех. Так и вел, улыбаясь и поблески-

вая широко поставленными веселыми глазами. Против туалета остановился:

— Нам сюда.

— А я не хочу, — воспротивился Филаретыч.

— А я хочу! — Скрипнула разбитая дверь. Лунин осмотрел покрытые пылью стены, разрисованные неприличностями. Самодеятельный художник, видимо, не надеясь на достаточно высокий уровень своего мастерства, снабдил рисунки поясняющими надписями. Роль художественной кисти выполнял гвоздь. Канавки были забиты пылью. На одном из ржавых смывных бачков с трудом прочитывалась надпись: «Не работает». Облицовочная плитка во многих местах обсыпалась. Филаретыч водил глазами следом за своим новым начальником и мотал на ус. Не произнеся ни единого слова, Лунин вывел Филаретыча в цех и повел дальше. Зашли в кондейку хозмастера. Уборщицы, поставив метлы, как винтовки, между колен, беседовали. При появлении Филаретыча с красивым молодым человеком умолкли.

— Знакомьтесь, наш новый начальник. Сергей Сергеевич Лунин, — четко произнес Филаретыч. Возникла продолжительная пауза. Лунин улыбнулся, наблюдая краткое остолбенение аудитории.

— О чем беседуем, товарищи женщины? — спросил он в конце концов.

— Да вот, метешь, метешь, а получать нечего, — бросила одна пробный камень.

Лунин убрал улыбку.

— Беседуете, — с осязательным скрипом в голосе сказал он. — А время-то рабочее — мести надо... Так вот, если в течение двух месяцев я никого из вас в рабочее время здесь не застаю — на третий месяц вам всем зарплату прибавлю.

— Это как же? — высочила одна.

— Как — мое дело! А ваше — скрести да мести, культуру наводить.

Уборщицы как по команде встали, добавили к метлам скребки, лотки и ведра и, косясь на Лунина, пошли к выходу.

— От начальник! Глаз лукавый, а смотрит в корень... — звонко высказалась самая боевая, остальные захихикали.

Лунин покрутил головой, засмеялся густым коротким смешком, повернулся к Филаретычу, посуровев:

— На туалет даю три дня. Чтобы не хуже был, чем в драмтеатре, — едва заметно катнул желваки и вышел.

Оставшись один, Филаретыч с минуту думал стоя. Лицо восковое. Глаза полуприкрытые. Мысли медленно облекались в слова:

— Начальник серьезный... Орел... Бабенок моих в два слова порохом зарядил... Работать надо, а кости болят... Да... Лежишь — болят, сидишь — болят, ходишь — болят... Лучше уж ходить. — Мысль завершилась решением. Филаретыч вышел, запер кондейку и направился к ремстройбригаде. Вот они, в своей кладовке. Сидят вокруг пустого ящика. Все трое. На ящике недопитая бутылка. При появлении Филаретыча самый молодой смутился и неловко спрятал бутылку.

— Дайте сюда, — приказал старик.

Молчание.

— Ну-ка, быстро! — И рука с обвисшей кожей решительно протянулась к ящику.

Самый молодой не выдержал, достал бутылку и подал Филаретычу. Филаретыч взял ее тремя пальцами за горлышко и медленно поднял. Ремстроевцы, как кошки за чебаком, следили за бутылкой. Филаретыч выдержал паузу, строго глянул из-под зеленоватого доньшка и... разжал пальцы. Ноздри собутыльников синхронно ожили. Все трое горестно вздохнули и опустили глаза.

— Слушайте меня. У нас новый начальник. Начал с нас. Немед-

ленно пойдете в туалет. Скрести стены, затирайте, белить, класть облицовочную плитку. Берите материалы и — марш!

Ремстройевцы молча собрались и вышли. Филаретыч улыбнулся и собрал битое стекло.

А Лунин от хозмастера направился в ячейку механика. Там распорядился Фимка. Техническую суть событий он переваривал мгновенно, хотя от него и сегодня пахивало.

— Ну, здравствуй! Наслышан о тебе, давай познакомимся! — Лунин протянул белую мягкую руку. — Лунин Сергей Сергеевич.

— Фимка.

— Как это — Фимка?

— Ну, Фимка, имя такое.

— Это полное-то как же — Фимиам, что ли?

— Да нет, Филимон... Филимон Иваныч Кушаков.

— Выяснили. Здравствуйте, Филимон Иванович!

— Здравствуйте, Сергей Сергеевич.

— В технике-то соображаете, я слышал, Филимон Иванович?

— Да есть. Рацухи пописываю, Сергей Сергеевич.

— И отлично, Филимон Иванович, рационализатор для меня — первейший человек!

— Шарабан варит, не жалуясь, Сергей Сергеевич!

— Значит, можно на вас надеяться, Филимон Иванович?

— Можно, Сергей Сергеевич.

Лунин ушел. Кушаков долго смотрел ему вслед. Застегнул пуговицы на рубашке. До последней. Застегнул пиджак. Пригласил лацканы. Широкая рука пробежала по рыжей шевелюре, неожиданно сделал ее красивой. Кушаков оглядел ячейку. Все занимались назначенными им делами. Работа, что называется, кипела.

— Кушаков еще себя покажет! — вполголоса сказал он самому себе. Снова обвел ячейку потрезвевшим взглядом. Смотрел, как справный мужик на свое. Глаз зацепился за кучу ломаных ползунов стотонных прессов. Слово длинная иголка пронзила Кушакова идея — как просто и быстро можно эти ползуны восстановить, сколько стотонников после этого оживет. Новых-то ползунов нет и когда еще будут!

Он заскочил в кабинет механика, где стоял его шаткий одностумбовый стол, сел, вытащил бланк рацпредложения и принялся чертить в нем дрожащие линии и писать озябшие буквы. Высокий лоб его покрылся потом, он вытащил белоснежно-чистый платок, утерся, снова принялся чертить и снова писать, обильно потея и повторяя время от времени: «Кушаков еще себя покажет! Кушаковых за фук не возмешь!»

А Лунин возвращался к себе в кабинет, наблюдая дружно работающих людей, и думал, что пьянство все-таки не рак, хотя и имеет свои метастазы. Метастазы эти можно частью повыдергать, частью заглушить, а некоторые и переродить в добротную ткань... Шаггал он широко, чуть вразвалку, по его лицу пробегал отсвет улыбки — будто мысли проступали на нем.

#### ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Руководящий состав завода уже в первый день появления нового директора был потрясен его крутым нравом. Неожиданное снятие Скоблова обсуждали на все лады. Кто не знал, что Скоблов попивает? Но кто бы мог подумать, что эта склонность, не помешавшая ему совсем недавно вывести цех из прорыва, так будет оценена! Руководители-трезвенники, внешне соболезуя Скоблову, внутренне торжествовали. Руководители пьющие немедленно стали проповедниками служебной трезвости. Но потрясения этим не кончились. Через неделю кто-то из заводчан увидел директора на одном из городских рынков. Он покупал

мясо в частном ряду. Новость была настолько невероятной, что на следующий же день об этом знал весь завод. Но потрясения не кончились и этим. В выходной день директора видели в загородном трамвае! «Ничего! Повыгибается и выпрямится! — говорили скептики. — Бочкин вымажет, Кочкин обвалится!» (Бочкин — зам. директора по быту, Кочкин — директор столовой.) Но вскоре и скептики были посрамлены. Весь завод узнал, что директор выгнал из кабинета Бочкина, предложившего своему патрону снабжение мясными продуктами из заводской столовой, и не только выгнал, а поставил в торец на парткоме, где бедный Бочкин схлопотал выговор с занесением. После этого молва объявила нового директора истинным ленинцем, и только Федор Кочкин, произнося хвалебные монологи перед суетливой столовской братией, про себя думал: «Дурак! От мяска отказался... Пусть на базаре такогото поищет еще... Да и что ему — денег куры не клюют, можно из себя рыцаря строить...»

В тот день, когда Фролов оказался невольным свидетелем воспитательной беседы Скоблова с Фимкой и борьбы Скоблова со стаканом газированной воды, он немедленно прекратил обход завода, поднялся к себе в кабинет и позвонил секретарю парткома.

— Фролов говорит. Виктор Сергеевич, охарактеризуйте, пожалуйста, начальника 15-го цеха Скоблова.

— Начальник деловой, жесткий — инженер. Цех долгое время был в прорыве, но ему удалось поправить дела. Правда, имеет пристрастие к спиртному.

— Вы видели, как он пьет?

— То есть... Что значит как? В компании с ним бывать не приходилось, понятия не имею... А вы, Анатолий Иванович, уже успели с ним в одну компанию попасть?

— В какой-то мере да. Я попал при обходе завода в кабинет его заместителя, попал инкогнито — так уж получилось. Он там был и при мне выпил стакан воды...

— Всего-то? — пошутил секретарь парткома.

— Да, Виктор Сергеевич, всего-то... Он держал его двумя руками, понимаете? Это алкоголик, его придется немедленно заменить, иначе прорыв в его цехе неизбежно повторится. Не порекомендуете кого-либо?

Секретарь парткома рекомендовал Сергея Сергеевича Лунина.

Фролов тут же распорядился вызвать к нему Скоблова.

С чувством полноты власти, опирающейся на справедливое решение, смотрел Фролов на идущего к нему Скоблова. В нервных, резких шагах легко угадывались напряженность, душевное смятение, желание продемонстрировать уверенность в себе, свою боеспособность, но только желание. Фролову этот дергающийся шаг показался лишним подтверждением справедливости принятого решения. На какое-то мгновение ему стало жаль этого человека. Но он поборол себя.

— Садитесь. — Скоблов сел. — Давно пьете, Юрий Зосимович?

— Как почти все — со студенческой скамьи.

— Почти... Вот именно.

— Да, почти. Есть, конечно, трезвенники, но я с ними не встречался. Ни одного не знаю.

— Прискорбно.

— Вы считаете меня алкоголиком, что ли?

— А вы как считаете?

— Я считаю, что я человек пьющий, только и всего. Как очень многие...

— Ну вот что... Мне после нашей неожиданной встречи ясно, что на цехе вас — по крайней мере в данное время — оставлять нельзя. Придете ко мне завтра в десять. Работу я вам подберу. Завтра же — сами — отправитесь к наркологу и будете лечиться. В зарплате я постараюсь вас не ущемлять по возможности. Бросите пить — восстанов-

лю в должности: в другом цехе, конечно... Вы хотите что-то сказать?

— Нет.

— До свидания.

Скоблов вышел от Фролова потрясенный. Положение, в котором он совершенно неожиданно для себя оказался, не укладывалось в голове. «Что же это, как же? Двадцать лет — начальник, а теперь? Ночи бессонные — в мусорницу, нервы измотаны, сердце болит, суставы скрипят... Эх... И вот за все спасибо тебе, Скобляга... На помойку тебя... Валяйся, как яичная скорлупа... Желточком твоим полакомились, белочек скушали — шурши, отброс ходячий...» Шел он коридорами заводоуправления и изо всех дверей, казалось ему, высывались злорадные физиономии и шептали друг другу: «Вот он... доруководился... сняли... поперли... по шапке дали... Как? Вы не знаете? Да, да, запислся... валялся посреди цеха... Директор идет, а он валяется... Кто это? — говорит... А ему работяги хором — начальничек наш, весь, как есть, отдыхать с перепою изволит... А директор, что директор? Убрать! — говорит... Снять! В ЛТП его... лопатку ему... землю копать... мусор ковырять... Таким вот пропойцам власть над нами дают... Куда двадцать лет смотрели?... У него в цехе по его подобию — все алкоголики!.. Как? Неужели? Все-е-е! Получку получают и каждого третьего — за червивкой. И прямо у станков — из горла... Ай-яй-яй! Куда же это власти-то смотрели?... Эх, Русь-матушка, никак тебя не пропьют...»

Ноги привели к кабинету — привыкли, сердешные... Лиза уже ушла. На столе у него лежало какое-то распоряжение. Ошибки выискивать не хотелось, он отодвинул бумажку, сел, уронив голову на руки. Долго сидел не шевелясь. Без мысли. Без силы. Опозоренный. Растоптанный. Уничтоженный. Открыл сейф по привычке, достал графин, взболтнул остаток... Словно шарик от подшипника перекатылся в горле. Тычком, без размаха, бросил Скоблов простенький гостиничный графин в железную урну. Острая вонь шибанула в ноздри, тоска рвотно шевельнулась в желудке, нос непроизвольно потянул в себя спиртовой дух, потянул истово, даже пискнуло что-то в заросших волосом ноздрах, стало так жалко утраченного зелья, что хоть из урны по капле в стакан выцеживай. Скоблов пнул урну дрожащей ногой, звякнули осколки, влекущий запах обострился, боль полоснула по большому пальцу правой ноги, но на душе немного полегчало. Он бросил ключ от кабинета на стол и вышел.

По улице, освещенной не электрическими фонарями, а солнцем, шел, как голый. Чувство выпадения из жизни не оставляло его.

Остановившись перед своей дверью, он почему-то не открыл ее ключом, а позвонил. Позвонил и удивился: «Что же это я? Ключ-то в кармане!» И вспомнил, как выкладывал другой ключ — от кабинета, — будто ключ от всей жизни своей выложил. Потому и домой позвонил. Не верила рука, что какими-либо ключами после того, как выложил тот, может еще владеть...

Открыла жена. Впустила. «Ой... Что это? Чо глаз-то нету? Чо рано-то приперся? Ой... О-о-о-ой! Выгнали со службы-то! А? А? Гляди в глаза-то, стручок! Таракан лохматый!» — Она взяла его за пиджачишко, встряхнула — только пиджачишко и тряхнулся, — обессилела от предчувствия беды. Скоблов глянул наконец-то в ее испытующе жаркие глаза, и душа замутилась. «Выгнали, — упавшим голосом прошептала она, — допился, прогрессер пустопорожний... Загубил семью... сына загубил... Сережа... Сереженька! Вот... папка твой... ну! Говори же! Что там? Судить-то не будут ли? А? А?» Выбежал Сережа, смотрел широко раскрытыми глазами и ничего не говорил. И так страшно проникли в душу Скоблова глаза сына, что треснуло там что-то, вспомнил он, что он — мужик, глава семьи, отец, что вернулся он в дом свой, сказал твердо: «Перестань, Мария. Ничего страшного не случилось. Перехожу на другую работу — всего делов. Ну, чего? Раньше домой

приходить буду. С Сережей в шахматы будем играть. На рыбалку поедем...» Говорил, а сам следил, как Сережа смотрит, что во взгляде его. А во взгляде сына становилось постепенно спокойнее, тише, даже радость начала появляться, а после обещания о рыбалке пискнула в его горле радость, тоненько так пискнула: поверил сын, и теперь обмануть его ожидания было никак нельзя. Мария обмякла сразу, словно сломалась, из глаз ее потекли молчаливые слезы, она ушла в спальню, упала на кровать и громко заплакала в подушку — от облегчения, понял Скоблов. Сережка кинулся к матери, Скоблов бросился за ним, и они в два голоса принялись успокаивать ее, поглаживая по плечам, а она плакала все громче, все раскованнее...

Утром, в десять часов, едва Скоблов открыл дверь приемной, элегантная секретарша сказала ему: «Юрий Зосимович, директор просил извиниться перед вами и просил прийти завтра в двенадцать часов дня». — «Понял вас, Людочка. Спасибо». — И ушел недоумевая.

На следующий день директор принял его. Вышел из-за стола с каким-то пухлым конвертом в руке, поздоровался, усадил Скоблова в кресло для посетителей, сам сел напротив, тоже как посетитель, сказал, протягивая конверт Скоблову: «Я узнал, что вы второй год без отпуска. Тут ваши отпускные и компенсация за прошлый год — компенсация в порядке исключения, разумеется, к тому же, если вы согласны... Согласны?» — «Да». — «Здесь же семейная путевка для вас — съездите с семьей, отдохните у моря. Вернетесь, приходите сразу ко мне — решим о дальнейшей работе. У вас есть ко мне вопросы? Нет? До свидания».

В приемной Скоблова задержала секретарша и попросила расписаться в платежной ведомости и в толстой амбарной книге за путевку. «Специально для вас из кассы и из завкома принесли по просьбе Анатолия Ивановича», — уважительно сказала она.

#### ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Солнце садилось, угловатые тени зданий удлинялись, незаметной мглой от этих теней заполняло улицы, мгла густела, и скрывшееся за коробками города солнце передало свои полномочия витринам и фонарям, бесчисленным окнам зданий и габаритным огням автомобилей, трамваев, троллейбусов... Толпы людей, текущие по вечерним улицам, казалось, стали еще гуще.

Слабо освещенный снаружи завод выглядел со стороны сурово и безлюдно. Темные стены корпусов смутно обозначились в отсветах городского электрического зарева. Но там, за стенами, сияли ртутные лампы, и стальная мощь станков, прессов, конвейеров, печей продолжала воплощаться в моторы, движимая множеством опытных человеческих рук, наблюдаемая множеством все понимающих человеческих глаз. Раскрывались ворота сбыта, впуская составы продуктов ветрами Сибири товарных вагонов, — порожняк, сновали погрузчики, ловко подхватывая тяжелые туши моторов и уместая их в пахучем вагонном нутре, знавшем на своем веку пряный аромат ставропольских дынь и тонкий запах алма-атинских яблок, дух подогретой пшеницы и острый запах овчин, заморский душок пластмассы и селедочные миазмы...

Водители погрузчиков работали молча, с виртуозной ловкостью управляя угловатыми машинами. И заполнялись вагоны моторной силой, и рычал басовитым гудком тепловоз, и увозил эту силу на тракторные заводы, вооружающие пахотной и уборочной техникой хлеборобов запада и востока, севера и юга...

Пятиэтажное здание заводоуправления вписано в периметр завода. Темны его окна — время работы управленцев истекло. Но вон на четвертом этаже горит окно. Кто же там сидит? Что за горемыка, оторванный от семейного уюта? И над чем он там ломает голову? Над тех-

ническими или человеческими проблемами, которые он не успевает решить в рабочее время? Чья бесталанная голова болит, переполненная неразрешимыми для нее задачами?.. Нет, это не зачуханный горемыка, не бесталанный хозяйственник, потерявший нити управления людьми и железом. Это Лунин, Сергей Сергеевич Лунин, красавец, счастливчик, вытаскивший за свою недолгую еще жизнь из прорыва уже три цеха и взявшийся закрепить наметившийся успех в четвертом. Что же он? Не знает, что делать? Нет. Сидит он, освещаемый настольной лампой с зеленым абажуром, обложенный личными делами работников цеха, вытряхивает из тощих конвертов желтые и белые бумажки, читает трагически короткие записи, вместившие в себя целые жизни человеческие, отданные и отдаваемые цеху, угадывает характеры и судьбы, вспоминает лица... Убежден Лунин, что своих людей начальник цеха должен знать не хуже, чем знает их капитан корабля, хотя цех есть цех, стоит он на твердой земле, окружен цивилизованной жизнью, а корабль качается над бездной и отделен от цивилизации подчас огромными расстояниями.

Поначалу личные дела лежали перед Луниным огромной кучей — пятьсот пакетов все-таки! А теперь все яснее вырисовывались отдельные островки: коммунисты, комсомольцы, ветераны войны, труда, ударники... А вот разгильдяи: прогульщики, пьяницы — их немало. Но в основе своей хорошие биографии проходят перед его глазами, и душевная сила этих людей каким-то чудом присутствует в сухих строчках личных дел и передается ему.

Работы много, но ее есть с кем делать.

\* \* \*

Филимон Иваныч Кушаков после знаменательного разговора с Луниным долго «держал марку», как сам он выразился о своем непитии. «Долго» в его понятии начиналось с месяца, а он не употреблял уже около полутора. За это время подал несколько рацпредложений, приделся получше, даже принес духи своей Наталье с полочки. Но тут не выдержал. И все бы ладно было, да отходя от окошка с очередной полочкой Лунина встретил. Тот любезно с ним поздоровался, Филимоном Иванычем назвал и со значением окинул взглядом посвежевшую кушаковскую фигуру: вот, мол, стоило Лунину глаз положить, слово волшебное сказать, и преобразился Кушаков, человеком стал. Этот-то взгляд и поколебал Кушакова: «Ишь, смотрю, мол, на дело рук своих и торжествую про себя... Как же! Кровя голубые! Отпрыск! Мужика наскрозь пронизает... Кушаков и сам бросил бы, коли б захотел. И никто ему не указ. Вот нажрусь — и все тут, и не задирай тогда носа». По дороге домой купил две столичных, поставил в зале на стол, достал из холодильника огурец и квашеной капусты щепоти три, полил капусту подсолнечным маслом, отрезал два ломтя черного хлеба. Поставил два граненых стакана: «Наталья! Будешь с полочки?» — «Ирод! — незлобиво укорила она, — обещал ведь начальству своему и мне...» — «Обещал, терпел, терпелка кончилась, — вздохнул Кушаков. — Так не будешь?» — «Нет». — «Деньги-то на!» — «Положи, куда — знаешь». — «Ладно». Положив деньги на место, Кушаков зубом подсек крышечку, налил полный стакан.

— А вам, Сергей Сергеевич, — обратился к пустому стакану, — привет! — Чокнулся с пустым стаканом, выпил единым духом, загрыз стурцом, занюхал хлебом, заел капустой. — Хороша капустка у Натальи...

Когда почти опустела вторая бутылка, Кушаков осоловел. Глядя укоризненно на пустой стакан, олицетворяющий начальника, погрозил толстокожим пальцем: «Нне ннадо... Кушаков — что? Э-э... кто? Ммужик. Хитрый, не дурной, грамотный, нно — мужжик. Пью вот. Обещал?



Дда. И что?.. Слаба душонка? Нн... Ннет. Вот коли б сам себе пообещал, держал бы... А? Ддержал! А? А тут — моих, мол, рук де-е-ело!.. А Кушш... Кушш... Кушш... шаков — сам себе гигимон (он с каким-то злым удовольствием коверкал знакомые ему «умные» слова). Так-то!.. Вот Наталью о...о...обидел. Да... За что? Нн... Нн...» Глаза ныряли под веки, голова клонилаь, но желание усовеститься перед женой было сильнее пьяной немочи. Кушаков попытался встать и не смог. Тогда он, прокряхтывая, сполз со стула на пол, стал на четвереньки и заковылял на кухню, где, он знал, сидит Наталья и плачет, поди-ка.

Сыновья-близнецы, четырехлетние Петр и Федор, Пека и Фека, с любопытством слушавшие бормотание пьяного отца, выглядывали из детской.

— Опять папка ходит по-собачьи, — вздохнул Пека.

— А все водка, все она, проклятая, к земле гнет, — сказал Фека, явно повторяя не свои слова.

Кушаков, мотая головой, вошел на четвереньках в кухню, ткнулся головой в теплые колени жены и затих.

— Ну, подними рожу-то, покажи свои шары бессовестные, погубитель, — тихо сказала Наталья, пытаясь поднять его тяжелую голову с колен и посмотреть в лицо.

— Все. Все... Все... Все. Больше ни капли... Но и меньше — ни капли... — пробормотал он.

Когда он заснул, она бережно опустила его на пол, принесла подушку, одеяло, устроила поудобней.

— Хорошо, хоть мужик доброй, не драчливой...

Проснувшись утром, Кушаков вскочил, сполоснулся, прибрал подушку и одеяло, выпил со стоном холодной воды из-под крана и побежал на завод. Голова трещала. Совесть грызла. «Брошу, от те истина — брошу! Кушакову Филимону Иванычу обещаю — брошу», — твердил и верил, что уж теперь-то обязательно бросит...

#### ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В окнах было еще темно, когда под высокой крышей корпуса, перекрывая грохот работающих прессов, раздался металлический лязг, и плотная темнота мгновенно поглотила все. В наступившей тишине кто-то взвизгнул, кто-то крикнул: «Ого-го-о-о-о!» Продолжал сипеть в неплотности соединений сжатый воздух, да время от времени пощелкивали трубы, заполняемые паром.

Никита Пчелин, уже старший мастер участка тяжелых прессов, застигнутый тьмой на проходе, не спеша сориентировался и медленно двинулся, вытянув руки вперед, в направлении службы энергетика — надо было выяснить, надолго ли цех остался без электроэнергии. Кто-то наскочил на него в темноте, ойкнул тихо. Пчелин улыбнулся, положил свои ладони на мягкие плечи. Сделал это уверенно, потому что по запаху волос и по голосу узнал Надю Данилову, учетчицу.

— Надя? — спросил еле слышно.

— Никита? — ответила она еще тише.

Они бесшумно поцеловались и разошлись. Продвигаясь дальше, Никита видел перед собой ее лицо — густую пшеничную челку, тонкие ржаные брови, темные глаза...

Вздыхая от полноты чувств, натываясь на людей, на ящики с заготовками, на холодные станины притихших прессов, Никита добрался до энергетика, нащупал железную петлю на двери, отворил тяжелую створку, проскользнул внутрь. Тут было теплей и еще тише, пахло пайкой и проводами. Наткнувшись на кого-то, спросить не успел — под крышей вспыхнули досиня яркие ртутные лампы, раздался общий возглас радости, все зашепили по местам, закутились маховики, зарокотали шестерни и ползуны, донеслись первые взрывные хлопки вырубает...

мой стали. Никита быстро вернулся к себе на участок и углубился в насущные дела. Его сухая плечистая фигура появлялась то у листоукладчика, работающего со всхлипами истирающихся пневмоцилиндров, то у четырехсоттонника с размашистодвигающимся метровой длины лотком, сбрасывающим вырубаемые из пружинной стали диски с множеством отверстий и пазов. Позванивали на шестиметровой высоте мостовые краны, с басовитым гудением поднимая челюстные ящики. От натянутых тяжестью тросов в момент отрыва груза от пола летела грязная маслянистая пыль. Даже стальной крюк, толстый, как мичуринская тыква, казалось, постанывал чуть слышно. Никита управлял всей этой мощью уже привычно. Лещеву, ушедшему на пенсию, приходилось частенько выводить людей по выходным. Теперь оборудование работало надежно, и Никита применял систему лаконичного спроса с каждого за дело, и этого оказалось достаточно для выполнения плана в рабочие часы и дни. Люди, привыкшие к панибратскому игу фольклорного виртуоза Лещева, поначалу холодно принимали рационализм Никиты Пчелина. Втянувшиеся в распустиху, позволяющую выпутываться из недельных прогулов отработками вполсилы, ушли. Но основной рабочий костяк быстро привык работать с систематическим напряжением и привязался к немногословному шефу. Своим мастерам Никита доверял, на стыке смен коротко подводил итоги и уходил с участка. Вот и сегодня в половине пятого он уже был в красном уголке и настраивал гитару. По пятницам готовил к выступлениям цеховую самодеятельность. Была у него группа танцоров — два парня и девушка, вокальный женский дуэт, баянист и чтец-декламатор. Сам Никита пел. Читала стихи Надя Данилова...

Баянист, грузчик ПРБ\*, мужчина молчаливый с вытянутым лицом, гонял темные пальцы по клавишам. Глаза его смотрели неподвижно, как у скульптуры. Рита Сухова крутила фуэте, малиново алея щеками и считая себе шепотом: «Раз, и два, и три, и раз, и два, и три, и три, и...» Ее партнеры, тощий Хохлушин и коренастый Федоров, подперевшись в кушаки, ходили вокруг Риты вприсядку, похожие на два подсаженных двуручных кувшина — у одного горло вороненое, у другого позолоченное. Дуэт расположился у пианино и вполголоса напевал «Мой миленький дружок...». Надя, цокая туфельками, ходила по проходу и трогала воздух губами, репетируя про себя Есенина...

Неожиданно вошел Лунин в светло-серой импортной тройке, складный да ладный.

— Здравствуйте!

Все тотчас оставили свои занятия и, повернувшись к Лунину, ответили на его приветствие.

— Собираюсь на 8 Марта драмтеатр откупить для цехового вечера, хочу вашу программу посмотреть, хотя бы по одному номеру, а?

Все тихо ахнули после слов «для цехового вечера» и нестройно заговорили после лунинского «А?»: «Конечно, пожалуйста...»

— Как, Никита Петрович, готовы?

— Готовы, — ответил Никита.

— Тогда поехали. — Лунин выхватил из ряда стул, бесшумно и ловко подставил его себе, сел, закинул ногу на ногу.

Баянист сыграл виртуозную пьесу. Играл, как робот, безошибочно и холодно. Дуэт спел «Мой миленький дружок...». Танцевальное трио сплясало русского. Надя прочла «По вечерам, над ресторанами...».

Лунин смотрел и слушал молча. Баяниста — холодно. Дуэт — с сочувствием. Танец — с обостренным вниманием к технике исполнения. Вынимал иногда пальцы из жилетного кармана и беззвучно прищелкивал ими. Надю слушал, медленно и густо алея лицом, наверное, кожа лица была тонкой и не могла скрыть ускорений сердца — слушал, от-

\* ПРБ — планоно-распределительное бюро.

кровенно окидывая ее оценивающим взглядом. Надя уловила интерес Лунина, ее низкий голос наполнился бархатом, белые щеки зарумянились, глаза засияли. Прослушав Никиту, покачал головой, перекинул ногу.

— Спасибо всем... Никита Петрович, а из оперы можешь?

— Могу. А что вас интересует?

— Лучшая опера — «Риголетто». По-моему, Верди! (Он говорил Верди, а не Вэрди.) Никита неопределенно пожал плечами.

— А в «Риголетто» лучшая вещь — «Сердце красавиц...». Можешь?

— Пожалуйста! — равнодушно ответил Никита. Он пробежал длинными пальцами по струнам, подтянул одну, мыкнул, отыскивая голос, с треском сыграл вступительные аккорды:

Сердце краса-а-авиц  
склонно к изме-е-не...

Голос его был невелик, но пластичен, безошибочный темп, ферматы, обнаруживающие тонкое чувство меры, незаметные переходы на фальцет и обратно, плавное затухание и нагнетение звука, приятный тембр придавали ему законченность и эмоциональную теплоту. Когда прозвучала последняя нота, Лунин, помолчав, снова покачал головой, сказал удивленно: «Да ты талант! А? Никита Петрович! Не знал, что среди старших мастеров у меня такой феномен прячется. Молодец, спасибо». Пожал Никите руку. Встал. Застегнул пиджак: «Готовьте концерт на тридцать-сорок минут. Драмтеатр за мной».

Драмтеатр оказался цеху как раз, хотя ожидалось, что будет пусто. Празднично одетые прессовщики вальяжно разгуливали по фойе, с радостным удивлением узнавали друг друга, поневоле преодолев привычку видеть себя в рабочей одежде; мешковатый оказывался вдруг элегантным, неуклюжий — ловким, молчаливый обнаруживал умение поговорить, болтун, выбитый из колес непривычным видом знакомых людей, демонстрировал молчаливость. Образовывались кружки беседующих, даже голоса изменились, надсадные и трескучие в лягзе и грохоте цеха, они обнаруживали себя совсем с другой стороны: в женских открывалась нежность и глубина, в мужских появлялись бархатистые басовые ноты, пробивалось теноровое серебро; проступали и неведомые доселе качества души: у бессловесных — эрудиция, у шумливых — тонкая ирония. Особенно разительны были перемены среди женщин: лишённые грубых комбинезонов, промасленных спецовок, они лишились и мужиковатости, грубых хваток и резких словечек, их женственность действовала сильнее вина. В буфете не было никакой толчеи: посетители объединялись в компании, пили большей частью кофе, дивясь волшебной открывшейся красоте женщин и мужчин, полушутливому флирту. «Вот мы какие, оказывается! Под хрустальными-то люстрами, с чашками кофе в руках, перед зеркалами, под потолок высотой, перед распахнутыми в полный рост прозрачными окнами, открывающими широко разбежавшийся по седловине высокого обского берега родной город. Вот мы какие!» — с незлобивой насмешкой над своим удивлением как бы восклицал внутренне каждый... Даже невыносимо элегантный Лунин затерялся как-то среди своих людей, во всяком случае не бросался в глаза.

#### ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Торжественная часть была короткой. Из-за президиумного стола, украшенного парниковыми розами, поднялся Лунин, снял микрофон со стойки, поздравил всех женщин с праздником, собрал в охапку цветы, сошел со сцены и, обходя зал, раздарил их, с каждым цветком произнося хвалебное слово предстоящей его обладательнице. Знал всех поименно и по трудовым достоинствам. Последними, к кому подошел Лунин, были Рита Сухова и Надя Данилова.

— Это Риточке, за ударную работу — на шесть месяцев и три дня опережает план и еще за то, что пляшет хорошо!

Зал взорвался аплодисментами...

— А это Наде...

— А ей за что? — шутливо перебил кто-то.

— За то, что на ее учет нет ни одной жалобы за все время работы в цехе и за то, что поэзию любит и стихи читает... отлично! — У него в руках оставался целый букет, он отделил было один цветок, как всем, но потом вернул его, махнул рукой, сказал, обращаясь к залу с мужской доверительностью: — За красоту! — И отдал ей весь букет. Вспыхнули короткие, но жаркие аплодисменты — ритуал поздравления всем понравился, пришелся по душе, особенно восхитил последний лихой жест: было в нем что-то от широты русской, раскрывающей вдруг душу перед праздничной толпой частушкой ли, пляской ли, откровенным ли признанием... Вспыхнула и Надя, жарко запыхала щеки, глаза распахнулись и налились блеском... Весь зал несколько мгновений смотрел на нее — она пыталась выдержать этот напор пристального интереса, но не смогла и закрылась цветами...

Концерт собственных артистов приняли горячо, как концерт гастролеров. Бисировали танцоры, дуэт спел весь свой немногочисленный пока еще репертуар, даже механическая виртуозность баяниста была обогрета. Надя читала Цветаеву сверх программы. Но жарче всех был обласкан Никита Пчелин. Он пел под гитару цыганские и старинные романсы. Когда спел все запланированное, его не отпустили, и он спел на бис «Не спрашивай, зачем унылой думой...». Пел, стоя в полупрофиль к залу, вьющиеся черные волосы и смуглая кожа, греческий нос с едва обозначенным под выпуклым лбом переносом, небольшие, но антрацитные-черные, горячие глаза, тонкий нервный рот гармонировали с цыганским авторитетом романса, приобретенным от Сличенко. Памятуя об этом, Никита взрыдывал по-цыгански, и после первых фраз, пародийно напомнивших основного исполнителя, по залу пробежал теплый смех... С треском рухнули аплодисменты, раздалось хоровое «бис», и Никите пришлось петь еще и еще...

Танцы играл ВИА. Учитывая широкий возрастной диапазон аудитории, музыканты перемежали коллективные танцы парными... Никита и Надя танцевали все подряд. Надя, однако, была рассеянной, казалось, что она ждала чего-то главного, а пока механически участвовала в общем веселем и с кем участвовать было ей все равно. Никита, накаленный успехом, поначалу не замечал ее состояния. Вернее, замечал, но не придавал значения. Когда ВИА заиграл «Кумпараситу», Надя вдруг, не глядя, отвела его руку и потянулась в сторону от него. Он посмотрел туда: к ним подходил Лунин. Он хлопнул Никиту по плечу, задержал мягкую руку на мгновение, как бы благодаря за концерт, — так понял его жест Никита — и пригласил Надю. Она пошла за ним с лунатичной загнипнотизированностью, опустив золотистые ресницы, вздрагивая в такт аккордам. Лунин взял ее властной рукой за талию, прижал и, как бы нагнетая сквозь ее опущенные ресницы свой взгляд, повел. Она шла по-лисья мягко, безошибочно предчувствуя каждый его следующий шаг, повторяя каждое движение, каждое колебание его тела и вскидывая изредка завороченные ресницы, чтобы на мгновение открыться глазами навстречу его физически осязаемому взгляду и снова спрятаться... Замутилась душа Никиты от их танца, дрогнула неосознаваемым страхом. А они шли отточенными короткими шагами, шли как одно покоряющееся музыке тело, это был танец заговорщиков, давно понимающих друг друга без слов... Душой понимал это Никита, но разум пренебрежительно успокаивал: «Чего испугался, дурак, Лунин женат, дети есть, пригласил да и все, станцует с ней это танго, вот и все... Мало ли кто с кем танцует — обыкновенное развлечение, да и все...» Но после каждого «да и все» падала душа, как перед прыжком в утреннюю майскую

речку в детстве, в ледяную еще воду ее... Толкнул танцующих последний аккорд «Кумпараситы». Лунин подвел Надю, крепко держа за обнаженный локоть, поставил на прежнее место. Она с опущенными ресницами сделала еле уловимый книксен, он сделал чуть заметный поклон гладко причесанной головой, просиял короткой улыбкой и ушел. Медленно поднялись ее ресницы и долго тянулся откровенный взгляд за его ладной фигурой, по-офицерски прямой и легкой... Снова заиграл ВИА. «Пойдем?» — спросил Никита. Надя вздохнула со всхлипом, как ребенок после долгих слез, покачала головой: «Пить хочется...»

Никита повел ее в буфет. Она следила за ним молча с явно выраженным нетерпением. Полный фужер выпила не отрываясь...

Прощаясь у подъезда, Никита обнял Надю, потянулся к ней. Она бесстрастно подставила свои губы... «До свиданья, Никита. Извини, устала я...» — «До свиданья».

#### ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Неделя после праздника оказалась хлопотной. На остродефицитном прессе сломался винт шатуна. Попала в технологический поток партия металлопроката для глубокой вытяжки с повышенной твердостью наружного слоя, рабочие места прессов двойного действия захламились рваньем, которое стропали не успевали убирать, в довершение с ремонтных лесов упал тяжелый гаечный ключ на голову наладчика Хохлушина. Друг его Федоров каждый день бегал в больницу и в работе стал менее внимателен и точен. Нагрузка на наладчиков возросла. Да и душа болела за товарища. Обвиняя себя в случившемся, Никита всячески помогал инженеру по технике безопасности с расследованием, засиживался на участке. Когда прибежал вечером к Наде, комната первичного учета уже была закрыта. Так и не увиделись до пятницы. А в пятницу оператор, бывшая его штамповщица, ушедшая на легкий труд по беременности, поймала его около кучи порванных при вытяжке деталей: «В шесть к Лунину. С гитарой». — «С гитарой?» — «С гитарой. Так и велено. А что?» — «Ничего. Понял». — «Хм...» — удивленно хмыкнула она и ушла переваливаясь, как бокал со сферическим дном.

Тщательно отмыв руки горячей водой в цеховом умывальнике, Никита захватил свою любимицу-гитару в красном уголке и побежал наверх к Лунину. Рассудок осуждал явную торопливость: «Чего разбежался? Начальству слух услаждать? Ишь, придворный исполнитель нашелся! Послаще кусок, что ли, выпевать себе собрался?» Но чувство нетерпения перевешивало — петь Никита любил и предчувствие своей радости, а главное, предчувствие радости людей, собравшихся слушать его пение, подгоняло его.

Вот и кабинет Лунина. Кроме хозяина сидели, свободно расположившись, Семенов, Пряслов, Васюков, Глухов и Надя Данилова — в новом платье, нарядная и надушенная. И ресницы опущены, и вскидываются изредка, как тогда...

— А вот и наш талант, в рекламе не нуждается! — приветствовал его Лунин.

— В настроении вы спеть нам что-нибудь? — спросил Глухов.

— В настроении, — улыбнулся Никита.

После фронтовых песен читала Исаковского и Фатьянова Надя. Потом Семенов заказал романс Дубровского, Васюков — «Вот мчится тройка почтовая», Пряслов — «Раскинулось море широко...». Заснило окно, звезды высыпали и затлели в прогалах между бегущими облаками. Ветер ощутимо встряхивал оконные рамы, подвывал за окном повесеннему, и на его фоне особенно тепло звучали песни и стихи.

— А почему по голосу в жизни не пошел? — спросил Глухов.

Никита помолчал, тренькнул струнами, прислушался к ветру...

— Голос-то у меня небольшой, а я классику очень люблю... А для классики, для профессионального пения, не хватит голоса моего.

— Может быть, работу свою больше любишь? — спросил Васюков.

— Работу?.. Работа не только любви требует и не столько любви, сколько понимания. Для одних она — неосознанная необходимость, для других — осознанная, для третьих, как хобби...

— А для вас? — спросил Глухов.

— Я в самой многочисленной группе: для меня работа — осознанная необходимость.

— Свято понимаешь, — подытожил Лунин. — Первая группа — рабы, вторая — работники, а третья — открыватели.

— Смотря чего открыватели! — без улыбки возразил Глухов.

— Заставляешь высокие слова употребить, — поморщился Лунин. — Открыватели новых путей в каждом деле... Впрочем, намек я понял, — улыбнулся он и достал из холодильника несколько бутылок минеральной воды, тонкие стаканы, роскошную коробку шоколадных конфет. Достал и раскрыл сверкающий отделкой складень, с ловкостью опытного бармена открыл бутылки. Запузырилась в стаканах вода. Лунин дернул небрежно ленточку, почти незаметным движением большого пальца правой руки сбил крышку с конфетной коробки, подтолкнул коробку Наде. Она, подняв ресницы, выбрала конфету, разломила... Никита наблюдал за ней, отмечая про себя, что она следит за каждым своим движением, заботясь главным образом о его красоте. И он не мог не признать, что это ей удавалось. Никите казалось даже, что она чутьем угадывает возможную внутреннюю реакцию каждого из присутствующих мужчин на каждое свое движение и ухитряется произвести приятное впечатление на всех. Даже его, Никиту, видит боковым зрением и учитывает в своих незаметных усилиях...

Лунин и сам отхлебнул воды, съел конфетку. Потом потер ладони, попросил:

— «По вечерам, над ресторанами...», а, Наденька?

Когда Надя закончила, улыбнулся в сторону Никиты:

— И еще «Сердце красавиц...».

Никита поморщился, пробуя и подтягивая струны.

— Не любишь? — уловил едва заметную гримасу Лунин.

— Да нет, почему же, вещь пронзительная, бьет наповал, да уж больно философия наглая...

— Гимн развратников, — врезался в разговор Глухов.

— Эх вы, понимаете... Любовь свободна и никакого разврата нет, если обоим хорошо. Вот если хорошо только одному кому-то, в смысле душевного состояния, так это разврат!

Никита с треском рванул струны, пресекая неприятный для него разговор.

— Да, музыка хлесткая... Ну, мне пора, товарищи. До свидания. Спасибо вам, ребята, утешили, особенно фронтовыми песнями да стихами, — прервал молчание Глухов и ушел. За ним сразу поднялись заместители. Лунин не удерживал. После их ухода повисла пауза. Лунин подлил воды оставшимся, подтолкнул коробку с конфетами еще ближе к Наде, долгим взглядом посмотрел ей в лицо. Ее ресницы поднялись, и глаза ответили на лунинский взгляд. Никита смотрел на них, притаив дыхание, и вдруг почувствовал себя лишним. Дернул струны, разомкнул возникшее между ними тяготение. Надя искоса на него взглянула: сонным каким-то, невидящим взглядом...

— Пошли, Надя! Пора, — жестко сказал Никита.

— Иди, Никита, я останусь, — однотонно ответила она, уже отведя глаза и снова их распахивая навстречу Лунину. Лунин налился краской, молчал. Улыбка пролетала по его лицу, словно в окно попадал отсвет фар проходящей мимо плотно сгруппированной автомобильной колонны...

Никита резко вздернулся, вылетел пулей, уронив по дороге стул. Скатился по пустынной, гулко отдающей звуки лестнице, оделся кое-как, проломно прогремел гитарой через вертушку проходной, выскочил навстречу сырому мартовскому ветру. Под ногами хлюпало. Снег набрал в себя талой воды и раскатывался по асфальту тяжелыми волнами. За оградой взлаивали охранные овчарки, передавая Никиту друг другу. Фонари не горели. Хлюп, хлюп — широко вышагивал Никита. Уши его пылали, кожушок оставался незастегнутым, шарф трепетал по ветру... «Любовь свободна, мир чарует, законов всех она сильнее...» — вспомнилась уже затасканная, опошленная, как ему казалось, оперная фраза, но только теперь до него дошел по-настоящему ее грозный смысл. Ярость потери на миг ослепила его, задыхаясь, он искал ей выход и нашел — схватил гитару за гриф и расколотил ее о бетонный столб. Гриф с обломками, висящими на струнах, швырнул через глухой забор. Бухнула в ответ несколько раз хриплой собачьей глоткой потревоженная овчарка, и снова Никита остался наедине с ветром. Ярость осела, толкалась в уши и затылок, тяжелила кровь... «Перегрузки», — подсказал разум с глубоко запрятанной усмешкой. Ноги промокли. Сырой ветер врвался за пазуху. Никита поправил шарф, застегнулся. Остановился и выскреб тяжелые шлепки снега из ботинок. Спросил себя: «И почему так падки женщины на внешнюю красоту? Вот, пожалуйста, Джильда мне еще! Ей ни жена его, ни дети его ничем, ни обманная страсть его...» В то, что страсть Лунина могла быть и необманной, Никита не верил. Думал: «Бабник, вот и все. А она... Эх, надеялся, что наконец-то душа к душе, как ива к речке... Ясно ведь, подходим друг другу, могли бы жить счастливо... А она — слепота. Идет, куда ветер ведет! И стихи-то читает только тремя поколениями критиков облизанные... Не услышанного чужими ушами — не слышит, не увиденного чужими глазами — не видит... Слепая. «Она слепая!» — всплыла вдруг в памяти горестная фраза Водемона из «Июланти», внутри дрогнуло — сердце незрячее, только внешний портрет ему внятен, а внутренний, главный облик человека — не понимает...

И возникла в нем жалость к слепому Надиному сердцу, а затем жалость и к ней самой, не ведающей о своей слепоте и потому неосознанно несчастной. А за жалостью прокралась и нежность, поднялись перед ним золотистые ресницы, засияли глаза, похожие на летнюю ночь после недавнего дождя...

#### ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В воскресное мартовское утро Прясловы проснулись, когда уже рассвело. За высокими окнами мотались снежные хвосты, тополя размахивали голыми ветками, словно дирижируя метелью.

Проснулись почти одновременно, но и он, и она не шевелились, храня предполагаемый сон друг друга. Не поворачивая головы, Пряслов скосил глаза и увидел, как то же самое сделала Галя. Они повернулись друг к другу, и Пряслов заметил, что она смотрит на него с непонятной тревогой в глазах.

— Что ты? — спросил он обеспокоенно.

— Забеременела я, Пряслов, — глухо сказала она, помолчав, в голосе ее был необъяснимый для Пряслова страх. Однако страх ее только скользнул по его душе, а сердце стало словно бы расширяться, кровь горячее и горячее делалась в нем, оно заполнило всю его грудь. Он осторожно обнял Галю, поцеловал в обе щеки, будто девочку, вскочил, подхватил на руки. Она обхватила его шею, спрятала лицо на груди, и он понес ее по комнате, носил, носил, и сердце его не уменьшалось, желание носить ее не проходило, и хотя в ней существовала вторая жизнь, уже имеющая свою тяжесть, она казалась ему неестественно легкой, даже как бы невесомой. Но и этого ему показалось мало. Он присел у

приемника, стоявшего на собственных ножках, включил его тыльной стороной ладони. Приемник был настроен на волну «Маяка». В его внутренности молнией втекло электричество, и в квартиру хлынуло многоголосие оркестра, игравшего далеко-далеко и неизвестно когда.

#### ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Призадумался Сергей Сергеевич Лунин. Крепко призадумался. Подпер кулаком правую щеку и засмотрелся куда-то вперед, где бормотало с простенка радио. В темном окне за его спиной клубилась апрельская метель, взвихренные сырым ветром, запутавшимся среди заводских зданий, хаотически летали крупные снежинки, билась в стекло и таяли на нем, оставляя потеки. Но метель не интересовала Сергея Сергеевича. Тяжко было у него на душе и, что главное, не мог он понять, откуда пришла эта тяжесть. Все на ладах, как говорится: вопросы — почти все — удалось решить, цех работает все лучше, подчиненные верят, друзья не переводятся, девушки влюбляются... Чего же еще? Казалось бы, живи да радуйся... Вспомнился последний поход к начальнице ОТиЗа\* Софье Исаевне. Сергей Сергеевич криво улыбнулся и переложил голову с правого кулака на левый.

С каждым отделом, необходимым чем-либо цеху, были у Лунина свои методы работы, основанные не столько на компетенции, сколько на личном обаянии. Прежде чем решить вопрос, в ОТиЗе например, ставлял он подготовить удобную для подписи бумагу. Тихая, как мышь, зав. БТЗ\*\* после долгих мучительных усилий заносила наконец-то ее на подпись. Лунин читал вполглаза, рвал и выкидывал в урну.

— Сколько раз говорить — удобную для подписи, а вы намарали проблему общесоюзного масштаба. Идите.

Женщина бесшумно исчезла. После четырех-пяти вариантов, преданных корзине, Лунин получал-таки вариант сносный. Удовлетворенно гмыкнув, он любовно вчитывался, но снова рвал и снова кидал в урну.

— Хорошая бумага. Но теперь слишком уж проста. Что вы, начальницу ОТиЗа дебилкой считаете? Замутите чуток. В каждой деловой бумаге должен быть коэффициент незнакомости (он так и произносил, нарочито подчеркивая, незнакомости). Еще два-три экземпляра шло в урну, потом только являлся тот, искомый. Лунин подписывал его в печать и с набором отпечатанных экземпляров отправлял свою «мышку» в ОТиЗ. Ее выпроваживали. Сначала отказывал куратор, она шла к заместителю, выпроваживал заместитель, шла к Софье Исаевне, отказывала Софья Исаевна, шла к Лунину.

— Бездельники! Бумагу — свою собственную — защитить не можете! С вами ни на охоту, ни на рыбалку не вырвешься. Сиди тут, как на цепи! Я что — и ораторскому искусству должен учить вас?

«Мышка», посапывая, терпеливо выслушивала разносную тираду Лунина и уходила, оставив бумагу ему.

Оглядев себя в зеркале, Сергей Сергеевич делал во внешности и без того ослепительной несколько совершенно неуловимых поправлений: что-то невидимое смахивал с лацкана, поправлял стреловидный галстук, идеально симметричный относительно воротника рубашки, прикасался к идеальному пробору мягкими пальцами... Найдя себя достаточно неотразимым, он свертывал бумагу в трубочку — папок не любил — и покидал кабинет. Софья Исаевна сидела на том же этаже через несколько дверей. Шагнул через порог ее кабинета и плотно закрыв за собой дверь, Сергей Сергеевич озарялся улыбкой и говорил вкусным голосом:

\* ОТиЗ — Отдел труда и заработной платы.

\*\* БТЗ — Бюро труда и заработной платы.



— Здравствуйте, Софья Исаевна!

Софья Исаевна приоткрывала в ответ золотые коронки и отвечала сочно:

— Здравствуйте, Сергей Сергеевич!

— Позвольте присесть, Софья Исаевна?

— Садитесь, Сергей Сергеевич!

Лунин вольготно располагался в предложенном кресле, вручал Софье Исаевне хорошо знакомую ей бумагу и озарялся в улыбке еще щедрее. Щедрее в ответ обнажала золотые коронки и Софья Исаевна.

— Хм! — говорил Сергей Сергеевич.

— Хм, хм! — говорила Софья Исаевна.

— Ха-ха! — заразительно предлагал Сергей Сергеевич.

— Ха-ха-ха! — чуть заметно повизгивая, жеманилась Софья Исаевна. Постепенно наращивая веселость, оба в конце концов закатывались и смеялись долго, до слез, глядя друг другу в глаза, этот смех явно нес взаимную информацию, заменяя собой длинные фразы. Любой человек со стороны счел бы их смеющимися над каким-то пикантным анекдотом, они же продолжали смеяться, как бы договариваясь между собой о деле тайном и известном только им двоим... Бумага, разумеется, приносила цеху искомое благополучие...

Плановым отделом тоже руководила женщина. Лунии про себя называл ее кошечкой-хаврошечкой — за миниатюрность и лубочный вид. За этой внешностью не было, однако, деловой мягкотелости, и только Сергей Сергеевич умел вынудить кошечку-хаврошечку поступать в соответствии с легкомысленной внешностью. Разговор между ними протекал примерно так:

— Удивляюсь вашей компетенции, Сергей Сергеевич, — говорила Раиса Ивановна, ознакомившись с бумагой Лунина, подготовленной по уже известной нам технологии.

— Умные люди всегда поймут друг друга, — ослепительно улыбаясь, констатировал Лунин.

— Если бы вы понимали меня так же, как я вас, — со вздохом говорила Раиса Ивановна, устремляя на Лунина влажные зеленые глазки и поправляя золотистые кудряшки.

— Я готов понять вас в любой момент, — понизив голос, отвечал Лунин. Зардевшись, Раиса Ивановна накладывала положительную резолюцию на бумагу Лунина и провожала его долгим взглядом, не находя способа открыть значение коэффициента «незнакомости», заложенного в их отношениях...

Разнообразные «отмычки» были в запасе у Лунина от любого отдела. Имея такой фавор, работать бы да радоваться, ан нет, накатила туча, запасмурила душу. И что это за такое-разэтакое чувство возникло? Томление пустого часа, мучение от осознанной ошибки, забытое обещание, напомнившее о себе? Что? Прислушался Сергей Сергеевич, внимательно прислушался к себе, как голодная кошка прислушивается к мышинному шороху. И вдруг обдало его холодом откровения: лишним становится он при своем окрепшем деле, как бы само оно пошло, а ему подталкивать осталось. Это ему-то...

Поднажал ветер, затряс окно, дрогнувшее с надтреснутым звоном. Перекинул Сергей Сергеевич голову с кулака на кулак, снова к себе прислушался. И снова похолодело внутри: сила простаивает. А когда сила простаивает без применения ее достойного, нет радости в душе, тускнеет жизнь, обесмысливается. А сила внутри есть, большая, многое может, он это всегда чувствовал, но стоит ей только пацелиться на что-то, ворохнуть, ухватиться — и пошел груз на-гора, сдвинулось дело, сделалось. И опять сила дремлет. Значит, ей не такая напруга нужна, большее может... Так вот тяжело, поди-ка, тигру в зоопарке — жратва сама в пасть лезет. А что делать?.. Завод бы на душу взять, так это когда дадут? А до той поры сиди, подталкивай? Как воз под

гору?.. Хм.. Почему — под гору?.. Слушай, Лунин! Кто ж тебе мешает не под гору, не по ровню-гладню, а в гору толкать? Не вполсилы, а по-настоящему здесь поработать, в цехе? Перекинул снова Сергей Сергеевич голову с кулака на кулак, сузились глаза, будто что разглядели впереди... Есть же лучший цех в крае? Почему не мой? Лучший в Союзе, в конце концов, елки-палки, а?! Кто мешает добиваться недосыгаемой для других фондоотдачи, производительности, автоматизации!.. Ишь, заблажил!.. Дон Кихот доморощенный... Нагреб себе кучу, так береги да пользуйся!.. Пользуйся... Но ведь сила же пропадает! Ожиреет на мелкоделье и забуксует на ровном месте!.. Э-э! Была не была! Я вам покажу, на что Лунин способен!

Снова перелетела голова с кулака на кулак. В воображении, словно в фильме с замедленной съемкой, появился и стал преобразаться цех... Душа ожила. Будто молния там переливалась. Весело стало Лунину. Встал он. Метнулся по кабинету. Мысль заработала споро, словно в костер замиравший сушняк подбросили, — затрещал, задымил и плеснул в небо жарким пламенем, загудел на ветру... Уже серия решений складывалась в голове, когда зазвонил телефон.

— Я!

— Слышу, что ты... — послышался Лилин голос. — Опять... развлекаешься?

Смешно стало Лунину: «Тут такое в голове, а она... А что она? Я сам виноват, что она...»

— Один я, Лилечка! — заорал в трубку весело. — Революцию вот собрался в цехе совершить, а ты — «развлекаешься»... Да против тебя все бабы — побрякушки! — Он сделал паузу, ожидая реакции на свою явно провокационную фразу, но реакции не дождался и добавил: — Лечу. Счас буду. Голодный, как волк!

— Лети. Борщ под парами, — с чувствуемой по телефону усмешкой ответила Лиля и положила трубку.

Лилин скептицизм не охладил его. Он потер ладони, надел свой щеголеватый кожан, цигейковую шапку с кожаным верхом и выскочил на улицу. Ветер гудел и обдавал запахом весны. Расползлось облачное покрывало, и сочные звезды посверкивали в прорехах...

Шел Сергей Сергеевич, ехал в троллейбусе и думал о своем замысле. Мысли его постепенно упорядочивались. Он уже продумывал пути воплощения. «Разработаем бумаги, расчеты сделаем... К кому идти? Сразу к директору? Спросит — знакомы ли спецы? Так... Снабженцев укаю — металл перезакажут, никуда не денутся. Главному технологу деться некуда: автоматизация — его хлеб. Главный механик закричит, что на поузловой ремонт импортных прессов валюты нет. Пусть кричит. От наших прессов не откричится. А инвалюту директор поможет найти. ОГиЗ... Софья... Что, скажет, Серж, славы захотел? Будет. Для этого на себя свинцовые вериги надевать не надо. Бригадный подряд постепенно введем — сначала во вспомогательных службах, потом на одном из участков... С помощью НИИ... НИИ... А НИИ — это годы... Софья на два-три звена цепочку отпустит — лишний столбик обиходить. А снять поводок ей не по силам. Вот жизнь! Хозяина — и на поводке держать... Не о хозяйстве, а о поводке и мысли-то все. Знает кобель свою цепь — оттого и свиреп... Раиса Ивановна вообще в ужас придет (Лунин гмыкнул.) Скажет: «Что вы делаете, Сергей Сергеевич? При вашей компетенции это неразумно. Такой производительности мы заводом должны достигнуть только к концу будущей пятилетки, а вы... Не ожидала от вас такого авантюризма, не ожидала...» В профкоме заохают — соревнование у них между цехами только в пределах завода организовано. А как на край, на отрасль, на Союз выходить? Шикнут еще сверху... И скажут в профкоме: «Иди, Лунин, работай, не обидим!» Нет уж, миленькие, если надо — и до Форда, и до Мицубиси доберетесь! Доберетесь?.. Доберемся — надо сказать... Директор окоротить

может: «...Поперед батьки в пекло... лучшее — враг хорошего...» А почему, собственно? Наоборот, пора уже сказать: «Хорошее — враг лучшего!» Силушке дремать не дам, всем души повыверну, выволоку на ветер. Пора поводки рвать. Мы не комнатные собачки».

Троллейбус подошел к нужной остановке. Лунин выпрыгнул, нырнул в темный подъезд. Думал, поднимаясь: «Вот у меня себестоимость годового плана — 5 миллионов рублей к примеру. Рубль сэкономил — 30% премии, миллион сэкономил — тоже 30%. А вы отдайте мне этот миллион! Не мне, конечно, а коллективу. Сразу интерес коллективный возникнет оптимально работать. Дополнительное жилье цеховикам построить можно. Дом отдыха на берегу Обского моря... Или Черного, — улыбнулся он. — К отпуску каждому работнику на лечение рублей по пятьсот можно дать, достойному конечно. И то сказать: сибиряка с европейцем не сравнишь — нам к морю и от моря двести рублей отдай, а европеец за десятку это море достает...»

Лиля встретила подчеркнуто холодно, однако Лунин разглядел в ее темных глазах искорки тщательно сдерживаемого любопытства. Раздевшись и сполоснув руки, он ворвался в кухню, отвалил ножом увесистый ломоть от круглой серой булки и набросился на дымящийся борщ. Выхлебывая жижу, поедая гущу, обгладывая мосол, он выкладывал ей короткими фразами задуманные им перемены. Она слушала, и глаза ее теплели. Она понимала и одобряла его, даже восхищалась, только восхищение пряталось глубоко, не выказываясь ни словом, ни взглядом, лишь скулы розовели слегка...

\* \* \*

Утром после производственной планерки Лунин ушел к себе и вызвал зампотеха. Семенов вошел подчеркнуто неторопливо, уселся, уложил ногу на ногу, вопросительно приподнял темные брови. Лунин с еле заметной усмешкой наблюдал за ним. Положил со стуком ладонь на витринное стекло, покрывающее стол.

— Надоело плохо работать. Скучно!

— Плохо? Так-таки и плохо?

— Плохо, плохо! Что флаги берем — не оправдание. Фондоотдача — пшик. Производительность — как в ЛТП. Механизации — две лопаты, пять лотков, три робота-балбеса. Прессы в ремонте простаивают по полгода...

— Революция назрела?

— Вот! Это самое...

— Придумать кое-что можно...

— Нет. Не кое-что. Слушай внимательно. Готовь мероприятия по перестройке всей нашей работы. Действуй на бумаге так, будто все, что надо для дела, у тебя есть. Отпусти фантазию с цепи. Чтобы даже наладчики на тяжелых прессах болты затягивали не ключами-костоломами, а гидравликой. Лишнее оборудование — с планировки прочь. Спланируй мне цех XXI века. Можешь?

Семенов слушал, делал умный вид, кивал, улыбался и думал: «Орден заработать, что ли, засвербило? Денег нагрел, штаты выбил, сидел бы да не пыхтел...»

— Отчего же нет? Можно и помечтать, — растянул Семенов «помечтать» на букве «а».

— Только на все мечты неделю даю! — жестко перебил Лунин.

— Хорошо... Только недели на такую романею маловато будет, — сказал он, отделив последние слова Лунина небольшой паузой. Хотел сделать паузу подольше, позначительнее, но не выдержал.

— Сколько же тебе надо?

— Недели две, три...

— Две! Вопросы есть?

— Будут!

— Будут — разберемся. Все! За дело.

Семенов медленно поднялся, расправил брюки, вышел, бесшумно прикрыв за собой дверь.

— Я тебе покажу — романею! — пробормотал все еще суровый Лунин. — Все распишешь, до гвоздика, Фома — избыток ума...

Спускаясь по лестнице, Семенов вспомнил реакцию Лунина на свои невысказанные мысли и с удивлением констатировал про себя: «Телепат, однако. Зверь этакий. Чует... Ну и чуй себе! Подумаешь — Тамерлан! Надо тебе — насочиняем. Играйся потом в эти игрушки. А свернуть громаду такую всерьез, не для показушки — не у нас на заводе...»

Следующим в кабинете появился зав. ПРБ\* Красуев. Вошел, выпячивая брюшко, обтянутое жилетом домашней вязки из верблюжьей шерсти. Широкое красное лицо с тупым носом и небольшими светлыми глазами выражало озабоченность и готовность понимания.

— Вызывали, Сергей Сергеевич?

— Вызывал. Садитесь. — Красуев деликатно присел на кончик стула.

— Надо сделать за пару дней номенклатурный комплект по каждому участку. Укажете количество комплектов на план месяца, выведете цену комплекта и расценок — расценки вам нормировщики проставят, скажете, что я велел. Задача понятна?

— Понятна, Сергей Сергеевич. С какой это целью, я могу узнать?

— Можете. Буду переводить все участки на оплату по конечной сдаче и на бригадный подряд.

— Но это же прекрасно!

— И почему же это так прекрасно?

— Снимем приписки.

— И только?

— Ну... материалы я обеспечу, у меня со снабженцами лады.

— А если участки на полный хозрасчет перевести, вы к такому готовы?

— Нет.

— Почему?

— Нужны склад заготовок, склад готовых деталей, полный учет.

— Но мы же считаем?

— На бумаге. По итогам сборок. А металл идет безучетно.

— И вы себя спокойно чувствуете?

— В бумагах все в порядке. В наших...

— Меня интересуют не бумаги, а живая экономия. Понимаете?

— Понимаю.

— Готовьте предложения по наведению строжайшего учета. Неделю срока. Вместе с зампотехом. Он знает. Поможет. Ясно?

— Ясно.

— Все!

Красуев встал бодро, вышел пружинистой походкой, лицу придал по возможности решительное выражение, но в мыслях его было смятение. Комплекты по участкам его не смущали, но где разместятся склады, как они будут работать, он совершенно не представлял. «Скажи нет — выпрет еще с должности, — думал он. — И зачем ему все это? Со снабженцами я по корешкам, заначки есть, он перед верхами в азиях... Чего не сидится спокойно человеку?»

В ПРБ мыслями своими делиться он не стал. Придал лицу свирепое выражение, усадисто устроился в кресле, постучал интеллигентно — как он полагал — пальцами по столу и сказал непреклонным тоном: «Девочки, новая работа». Объяснил работу подробно, однако так точно

\* ПРБ — плано-распределительное бюро.

и кратко, что ни словечка не убирать и не прибавить. И срок дал вдвое короче лунинского. Встал и медленно удалился: отправился на консультацию к Семенову.

А «девочки», самой молодой из которых стукнуло сорок, помучившись любопытством по поводу таинственных целей новой работы, принялись за дело.

#### ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Пряслов вошел заметно: половицы под ним закрипели, стул крикнул. Побитый сединой пышный чуб живописно темнел над медно-смуглым лицом. Глаза смотрели прямо и мрачно поблескивали. Костюм свежий, рубаха без галстука, но белоснежная. Руки мозолистые, чугунно-тяжелые, атласно-смуглые с тыльной стороны. Лунин залюбовался даже. Потеплел душой. Мягко улыбнулся, не размыкая губ. Спросил со значением: «Ну, как жизнь семейная?» Пряслов показал на миг жемчужный ряд зубов. «Значит — на два больших и восемь маленьких?» Пряслов утвердительно тряхнул чубом: «Слушаю, Сергей Сергеевич, не затем звал-то ведь?» — «Да, не затем... Поузловой ремонт внедрять будем. До конца. До последней пуговки. Марка, завод-изготовитель, количество, необходимые запасные узлы, не исключая импорта. Заявки подготовь на отечественные марки и на импортные. Два-три дня хватит?» — «Хватит. Но это в несколько миллиончиков обойдется». — «Ничего. Окупится». Пряслов кивнул, встал со снова крикнувшего гнutoго стула и вышел, раскачивая плахи хорошо пригнанного окрашенного пола.

Васюков, как всегда с иголки одетый, выслушал начальника молча, изредка кивая красивой головой.

— Бумаги надо очень скрупулезно подготовить, продумать все до мелочей, — раздумчиво сказал он, когда Лунин умолк.

— По сути возражений нет?

— Суть принимаю.

— Службы свои проконтролируй тщательно, особенно Красуева.

— Будет сделано.

— Были мысли?

— Были. О бригадном подряде в частности...

— Чего ж молчал?

— Думал — не окрепли мы еще для реорганизаций.

— Так, может быть, рановато?

— Думаю, в точку будет.

— А как директор посмотрит?

— Одобрит.

— Все?

— Кроме дома отдыха на Черном море, — улыбнулся Васюков.

— Ну, иди...

Васюков бесшумно встал и вышел, ничем не стукнув и не скрипнув, будто бы по воздуху плыл. Лунин подумал вслед: «Семенов проинформировал уже... Дружно живут что-то, не слишком ли дружно?»

Васюков, спускаясь вниз, к себе, был серьезен. «Замудрил начальник. Хорошо — врасплох не подловил... Спасибо другу. Ну, мастеров ему директор не даст под нож пустить... Домом отдыха он себя подорвет, пожалуй. А не стоило бы. Такого, как Лунин, легче вверх протолкнуть, чем сбить с места. Глядишь, за собой подтянет...» Потирая ладони, он пошел в операторную, щипнул Галочку за бедро — она отмахнулась, даже не поглядев, кто любезничает: давала почасовую сдачу в производственный отдел. Прошел к себе, уселся в кресло за свой почти свободный от бумаг стол и набрал номер Семенова: «Вызывал... Поговорили... Одобрил, конечно... Да... Да... Да... Ну, давай, сочиняй позамысловатее там, покажи марку... Да... Да... Да... Ну, бывай».

А в кабинет к Лунину уже входил старший экономист Каминов.

Тщательно подобранный галстук и модные туфли на капроновых копытах выдавали в нем франта, хорошо отглаженный классический костюм — франта консервативного. Натренированный завиток отделялся от аккуратной и даже несколько прилизанной прически и спускался на лоб, уже изрезанный морщинами.

— Садитесь, Иван Викторович.

— Благодарю вас, Сергей Сергеевич, — отвечал Каминов с галантным полупоклоном и осторожно сел, не прикасаясь спиной к спинке стула.

— Дело такое, Иван Викторович: надо подготовить все участки к переходу на бригадный подряд.

— И тяжелые прессы собираетесь подвергнуть бригадной модернизации, Сергей Сергеевич?

— Собираюсь, — улыбнулся Лунин.

— И вас интересует мое мнение по этому вопросу?

— Да.

— Я старательно изучаю газетные материалы и выступления крупных специалистов по бригадизации промышленности и считаю это дело прогрессивным. Резервы извлекаются из нескольких факторов: холостое время повременщиков, перераспределение ответственности, передача распределения денежных знаков в руки рабочих, комплексная заинтересованность в конечном результате, искоренение волюнтаризма мастеров в определении личной доли рабочего в общем труде...

— Это приписок, что ли? — перебил Лунин, на лице которого по мере развертывания каминовских фраз концентрировалось выражение студенческого внимания.

— Да, так называемых приписок. И еще один немаловажный фактор, — продолжал Каминов, — возникновение коллективной заинтересованности в активной эмиссии воспитательных импульсов коллектива...

Тут Лунин неожиданно гмыкнул, сверкнул улыбкой и, уловив выражение профессорского неудовольствия на аккуратненькой физиономии Каминова, откровенно захохотал. Каминов ждал с обиженным видом.

— К-как? Как это? Эмиссии каких... хо-хо-хо-о-о-о!.. импульсов? — начал притормаживать Лунин.

— Воспитательных, — вежливо уточнил Каминов.

Лунин вынул из кармана благоухающий платок и промокнул слезы.

— Это все... факторы?

— Нет. Есть еще немало нюансов позитивного характера, но это уже обертоны, как говорится...

— Обер... что?

— Обертоны — это из области вокала...

— Не будем уходить в сторону, — примирительно сказал Лунин. — А как вы смотрите на фигуру мастера в условиях... бригадизации промышленности?

— Я считаю, что в условиях бригадизации промышленности фигура мастера социально изживает себя, по крайней мере в той роли, в которой она используется у нас. Почему? Мастер, видите ли, деформирован духовно в сторону функций распределения денежных фондов, и свою организационную роль он выполняет с точки зрения плана, но не с позиций предельной реализации возможностей людей, материалов и оборудования. В условиях бригадного подряда он, на мой взгляд, вступит в социальные противоречия с коллективом и будет помехой развитию самоуправления рабочего класса. При бригадном подряде между живым трудом и его оплатой не должно быть посредников, только тогда коллективная инициатива получит максимальное развитие. По сути дела, если хотите, революционное преобразование, углубляющее проникновение социализма в духовную глубину современного рабочего... — Лицо Каминова приобрело несколько даже мечтательное выражение, он готов был продолжать еще неизвестно сколько времени свою

витиеватую, но явно доставляющую ему удовольствие речь. Но глянув испытующе на хмурое лицо Лунина, он зачем-то расстегнул и застегнул перламутровые пуговицы на пиджаке, распространив при этом аромат дорогого одеколона, и умолк. Длинную паузу прервал озабоченный Лунин:

— Да... революционное... а если мастера оставить, то революционное или нет?

— На мой взгляд, это будет не шаг, а полшага. Если сейчас за всех думает мастер, думает узко, с точки зрения удовлетворения запросов рабочих по зарплате, не всегда — чего греха таить — обоснованных выработкой, и с точки зрения собственной премии, то без него будет думать каждый рабочий, и будет это делать оптимально, как настоящий хозяин производства. Это же ясно.

— Да... Задали вы мне задачу... В ПРБ и в БТЗ вам все дадут, готовыте бригадные котлы, планы. Сдача только комплектная. Суточные объемы, заделы. Сколько вам надо времени?

— С момента полной информированности — неделю. При введении полного бригадного хозрасчета — две недели.

— Даю. Две даю. Все.

Каминов встал, отвесил элегантный полупоклон и пошел было коротенькими шагами, оттопырив ладони опущенных рук, словно бы опирающихся на невидимые перила.

— Подожди... Вот ты мне скажи, сколько тебе лет?

— Сорок один.

— И почему ж ты не министр или не зам. министра хотя бы?

— Не властолюбивый характер у меня, и совесть родители подарили тонкокожую — предостерегает от власти.

— Что ж это такое, по-твоему, — власть?

— В нашем социальном климате — орудие народа, ответственность перед ним.

— Стало быть... орудие — и все? А для себя?

— А для себя как для всех, не больше. Привилегий в ее конструкции нет, и брать их совесть не должна позволить... Да, я знаю, есть такие, власть понимают как оружие в руках, которым разрешено пользоваться без ограничений. Но для этого волчья совесть нужна...

— Во-о-он как... А меня можешь препарировать на власть?

— Вы... У вас врожденное чувство ответственности, приносящее удовлетворение в процессе реализации. Своего рода талант. Наверное, это предостерегает, ограждает вас от... мародерства.

— Не всегда... Не всегда, Каминов.

— Но тогда... Не в своей тарелке должны вы себя ощущать. Так, по-моему?

— А почему это?

— Потому, что талант сферу своего действия всегда блюдет строго. С эгоизмом несовместим, по-моему...

— Любопытные ты вещи говоришь... Да... Спасибо за откровенность... Ну, иди. Действуй.

За обедом в итээровской столовке Лунин подсел к Скоблову. Тот, загорелый и посвежевший, хлебал прозрачный куриный суп, аккуратно подсовывая кусок серого хлеба под ложку, чтобы не капнуть на повехошский костюм. Кивнули друг другу. Лунин быстро съел стандартный обед, принес еще стакан сметаны. Обед закончили вместе неторопливым чаепитием. Лунин спросил весело: «Ну что, у диспетчерской службы вопросы есть?» (Скоблов работал теперь начальником смены завода.) — «Особых нет, хотя задел по колечку поршневого могли бы и побольше держать». — «Да?» — «Определенно». — «Учтем, Юрий Зосимович».

Вернувшись к себе, Лунин задумался. Надо было поговорить со старшими мастерами и в первую очередь с Пчелиным. Почему именно с ним? Лунин задавал себе этот вопрос и вроде бы даже уговаривал

себя начать с кого-либо другого, но внутри противилось. Снял селекторную трубку, Галя откликнулась. «Пчелина ко мне». — «По вопросу?» — «Вопрос на месте».

Пчелин ворвался с демонстративным грохотом. Стал в торце приставного стола. Губы — в ниточку, глаза — в форточку. Лунин почувствовал его сдерживаемую ярость. Встал, побурел: «На улице в темном углу встретишь — набей мне морду. А здесь мы на службе — надо служить». Пальцы Пчелина, охватывающие столешню, побелели, заалело лицо. Но он быстро справился с собой, улыбнулся криво: «Попытаюсь воспользоваться вашими рекомендациями». — «Это будет по-мужски. А теперь о деле. Садись».

Лунин подробно рассказал о своих планах, не упуская ничего. Никита слушал внимательно. Увлёкся. «И как относишься?» — спросил Лунин. «Поработать надо. Уверенность в деле придет», — уклончиво ответил Никита. «Поработать немало придется над всем этим, ты прав. А скажи, кто как из твоих людей к бригадному подряду отнесется? Можешь?» — «Могу. Список людей со мной, сейчас пройдемся, сделаем предположения...»

И они углубились в список.

Занятый подготовкой к преобразованиям, Лунин и думать забыл о Наде Даниловой. Она заглядывала по вечерам, но всегда видела его в окружении подчиненных и уходила. На этот раз она застала-таки его в одиночестве. Он собирался идти, когда открылась дверь и появилось ее бледное лицо. Она переступила через порог и остановилась. Да, она хороша. Она замечательная. Но она не раз появлялась в дверях, когда властвовало дело. Лунин замечал это краем глаза, и ощущение помехи родилось в нем и соединилось с ней. Руководить, управлять, подчинять себе обстоятельства дела было у него в крови. В этом была его гармония с миром людей, здесь был воздух, которым он дышал, вода, которой он утолял жажду, здесь была львиная доля радости, получаемой им от жизни. Для кого-то дело — кормушка, для кого-то — обуза, для кого-то — ответственность, для него дело, как рыбе — вода, как птице — воздух, как кроту — земля. Так он чувствовал и сроднился с этим чувством, а возникающие на пути у дела помехи сразу меняли мироощущение и заставляли искать их немедленного устранения.

И вот она переступила через порог и остановилась.

— Я ухожу, — сказал он сухо, застегивая пальто.

— А я пришла, — сказала она с трогательной наивностью, предполагающей изменить его намерение.

— А я ухожу, — сказал он еще суше.

Она помолчала несколько секунд, чувствуя, как наползает на ее безоблачные ожидания непонятная тень... Нет, она не поверила, она не могла остановить в себе инерцию ожидания света.

— Но я пришла, — возразила она, сделав нажим на слове «я».

— Но я ухожу, — сказал он однотонно, жестко, жестоко даже, лицо его закрылось холодом, а глаза смотрели мимо ее лица.

Отчаянье прокололо ее наивную уверенность в счастливом исходе встречи, как ржавый гвоздь прокалывает на деревенской улице новенькую шину... Красные пятна выступили на ее лице, большие глаза начали наполняться слезами. Она сжала губы, гордо подняла вздернутый нос и ушла, изо всех сил хлопнув дверью. А сил у нее было не так уж много... Надя шла под многозвездным небом и мучилась от боли. Она не искала ей названия, шла и мучилась, и боль не проходила, а становилась все невыносимее, казалось, что душа разорвется от нее, но душа не разрывалась, наверное, она стосковалась по настоящей боли...

Так, пожалуй, тоскуют мышцы гиревика, бросившего свое ремесло...

Когда Надя ушла, лицо Лунина окаменело. Он стал похож на ожившую статую, которая не может сломать привычную позу. Но он сделал усилие, сломал и вышел.



\* \* \*

Дома в прихожей быстро переоделся и спустился в гараж. «Нива» завелась с полуоборота. Через пару минут он уже мчался в городском потоке, а через пятнадцать-двадцать вырвался на пригородное шоссе. Стрелка спидометра ушла за сто километров. Как белый снаряд, мчалась машина по мокрой, кое-где покрытой наледями дороге, ревел мотор, завывала метель в приоткрытом окне, хлопья снега шлепались в ветровое стекло и таяли, раздвигаемые стеклоочистителями. Казалось, это ночь плавится от ярости живого железа...

Часа через два Лунин вернулся. Дочка еще сидела за уроками в зале. В спальне было темно. В третьей комнате Лиля проверяла тетради. Она сидела спиной к вошедшему Лунину, повернула голову и спросила спокойным голосом: «Ездил куда-то?» — «Ездил». — «И куда же это?» — «За совестью». Лилия прикрыла глаза, давая им отдохнуть, кивнула молча и снова углубилась в тетради. Левая рука ее лежала на столе. Тонкая кисть, нежные пальцы. Лунин сел в кресло, стоящее сразу за письменным столом, медленным движением положил поверх ее руки свою, и руки их остались надолго соединенными, как бы передавая через себя тепло душевного движения.

Заглянула дочка: «А я уроки закончила. А у вас совет да любовь?» — «Иди сюда», — позвал Лунин. Она подошла. Он посадил ее на колени к себе и спрятал нос в ее волосы, пахнущие девчоночьим детством...

#### ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В приемной у директора было оживленно. Сухощавая секретарша Людочка, кокетливо прикрывая распахивающийся ворот платья с глубоким узким вырезом, обнаруживающим кружевной лифчик, отвечала полупшепотом на вопросы: «Лунин у него, Сергей Сергеевич. Велел ни-ко-го! И трубку не берет. Даже Москву на заместителей переключаю...»

Сыпались предположения:

— Это куда же его опять на выручку бросают?

— Да будто бы и некуда. Работает производство.

— Людочка, ну скажите же, чего он там, этот красавчик?

— Может, к дочке директорской сватается?

— Он женат. У самого дочка, — парировала Людочка.

— Все-то вы знаете об этом Луinine, уж не имеете ли сердечной склонности?

— К такому иметь — грех небольшой.

— Поди, и он вас не обходит стороной? Вы у нас ой-сй-ей!

— Вы наговорите с три короба, когда жены не слышат...

— И что ж за разговор такой — на два часа?

— Наверное, директора — в министерство, а у нас опять новый будет.

— Кто?

— Кто, кто! Лунин, конечно. Не я же там два часа сижу.

— Скажете — Лунин! Молод еще. Пусть попашет.

— А вы, Людочка, что все-таки думаете по этому поводу?

Людочка напустила озабоченности на симпатичное личико, но изречь ничего не успела. Дверь директорского кабинета открылась, и из нее вышел Лунин.

— Фу! — выдохнул он и наклонился к Людочке. — Целуйте!

Людочка развела руками и чмокнула Сергея Сергеевича в щеку, тут же стерев душистым платочком слабый отпечаток помады. Лунин галантно поцеловал ей руку, обвел глазами собравшихся, поднял бумаги над головой и заявил: «Дело в шляпе. Остается дом отдыха на Черном море». — «Какой дом?» — спросил кто-то растерянно. «Девятиэтажный!» — ответил Лунин и широко улыбнулся.



*Николай Иванович Морозов родился в 1930 году в селе Каяушка на Алтае. Окончил Барнаульский государственный пединститут. Работал в советских и партийных органах. Стихи публиковались в газетах «Алтайская правда», «Молодежь Алтая», альманахе «Алтай», коллективных поэтических сборниках «Мне двадцать лет», «Лирика», «Грустная пятница». Живет в Барнауле.*

**Николай МОРОЗОВ**

## ...А ДАНО ЕЕ БЕРЕЧЬ!

### КАСМАЛИНСКИЙ БОР

По следам стремительного лося,  
Что в испуге совершал бросок,  
С горсточку — не больше! —

между сосен

Проступила влага сквозь песок.

Просочилась в тонкое копыто,  
Светлой струйкой потекла в овраг...  
Что же, пусть докажут следопыты,  
Что речушка началась не так.

Лесоруб к воде склонился чубом:  
— До чего пахуча! Как смола!  
Лес подслушал, видно, лесоруба,  
И пошло название — Касмала!..

А закаты над лесным простором,  
Как огни трескучего костра.  
Повстречавшись с Касмалинским бором,  
Спотыкались знойные ветра.

Оседали на пути и полянам  
С юга наплывавшие пески...  
Здесь, особый счет ведя берданам,  
Мамонтов накапливал штыки!

«Елочкой» на картах обозначен  
В плане по разгрому Колчана  
Бор шумел,  
Разгневаный, горячий,  
О людской свободе  
Вел рассказ.

Научитесь читать  
Письмена звездopaда  
И душою страдать  
На рассвете не надо.

Так заря горяча!  
Пахнут травы и смолы.  
И рассвет на плечах  
Невесом, словно голубь.

Здесь тропинка текла  
С Касмалой по соседству.  
Касмала, Касмала,  
Мое светлое детство!

На лугах, за жнивьем,  
Остывал от росы я.  
Может быть, от нее  
Твое имя, Россия!

Здесь гудела страда,  
Что прошла целиною.  
Это здесь борозда  
Стала осью земною.

Хлеб невиданных проб —  
Наши песни и взлет наш.  
И лицо хлебороб  
Вытирает наотмашь.

Здесь не ради наград  
Наша боль и забота.  
А во имя добра —  
Вековая работа.

### СТЕПЬ

Не пугайтесь в степи  
Ни грозы, ни безмолвья.  
Щедро вас окропит  
Синева в изголовье.

### ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

Было так: солдат с размаху  
Падал наземь головой...  
Дело тут совсем не в страхе,  
Дело в слитности с землей.

Сквозь сраженья шаг за шагом  
От израненных берез  
Он до купола рейхстага  
Знамя жаркое пронес.

Было так: рассвету внемля,  
Веря солнцу и весне,  
Падал я плашмя на землю,  
Припадая сердцем к ней.

И вставал. И выпрямлялся.  
Снова брал на плечи груз.  
И случалось, оступался,  
В чем признаться не боюсь.

Но, рожденный на планете,  
Я б не смог прожить свое,  
Не познав, что я в ответе  
За величие ее.

Горсть земли! Простая малость.  
Но за все века, учти,  
Никому не удавалось  
Эту горсть изобрести.

Не дано ее от веку  
Ни в державном гневе сжечь,  
Ни рассыпать по сусекам,  
А дано ее беречь.

## ПОДГОРНАЯ

Под горою улицей просторной  
Шли девчата, не боясь молвы,  
И назвали улицу Подгорной  
В девичьих частушках огневых.

Только где происходило это!  
Я любого выслушать готов.  
Может быть, у самой Волги где-то!  
Может, у родных Чудских прудов!

Много светлых улиц у народа.  
Только я ответить не берусь,  
На какой не тесно хороводу,  
А на этой вся вместились Русь!

## КОСТЕР

Ты присядешь в пути у костра  
На лесной необжитой полянке,  
Если нет под рукою ведра,  
Чай вскипит и в консервной банке.

И тепло разольется до пят.  
А костер разгорится на редкость

Так, что капли дождя зашипят,  
Как смола, на сосновых ветках.

Убедишься — поверь мне, — с тех пор,  
Что, срываясь огнем к небосводу,  
Настоящий сгорает костер  
До крупницы в любую погоду!

## ПЕТРО

Добротен дом на редкость.  
Его владелец горд:  
Сейсмическая крепость!  
Неуязвимый форт!

Камин. Тахта. Открытый  
Пещерный дымокур.  
Раскинут первобытный  
Начес медвежьих шкур.

Не зря супруг в Заречье  
Вершил с ружьем круги,  
Чтоб угостить картечью  
«Хозяина» тайги.

Потом он с нервной дрожью,  
Переступив порог,  
Метнул трофей к подножью  
Уже воспетых ног...

Все в доме — шик. И вроде  
«Затоны» не смердят.  
А женщина уходит,  
Куда глаза глядят.

Ее решение слепо.  
Тот шаг необъясним.  
Уходит табор в небо!  
Ну что же — лучше с ним.

Отрадной на полянке  
С любимым в шалаше,  
Чем с нелюбимым в замке,  
Где все не по душе.

Умом своим раскинув,  
Сердечностью блеснув,  
Мы стелем ей равнину,  
А ей бы крутизну,

И поиски, и усталость,  
И все ветра окрест.  
А ей бы с пьедестала —  
В тот сумрачный подъезд.

Где веря в дружбу свято,  
Растроганный до слез,  
Он ждал ее когда-то,  
Где все и началось...

Сначала любо-мило  
Жилось и пелось впрок,  
Однажды заштормило,  
Ворвался ветерок.

В их жизнь без промедленья —  
Откуда что взялось! —  
Проникли подозренье,  
Сомнения и ложь.

Как шнур бикфордов, злоба  
Меж ними. Перекрыв  
Пути к отходу, оба  
Готовы на разрыв.

И не пустует стремя.  
И все прочней броня.  
Они в любое время  
На линии огня.

Из-за портьер и «кочек»,  
Взрывая тишину,  
Ведут и днем, и ночью  
«Столетнюю» войну.

А им при всем при этом,  
Чтоб исчерпать конфликт,  
Хватило бы букета  
Тюльпанов иль гвоздик.

...Духовное бесплодье,  
Как паутины вязь...  
И женщина уходит.  
Уходит не простясь.

\* \* \*

Там, где любовь и где судьба,  
Где их устои, непременно

У пограничного столба  
Петляет, крадучись, измена.

Окликнешь — кинется в кусты,  
Потом опять следы у брода.  
Но всюду верности посты,  
Храня любовь, расставил кто-то.

\* \* \*

Склонился долу дуб устало:  
Ветвями солнце не поднять.  
Но сил и в нем еще немало,  
Чтоб, рухнув, поросли подмять.

\* \* \*

Отбросьте копьё! В сторону — пращи!  
Пусть от барьеров рыцари отступят!  
Где ревность, там любви и не ищи:  
Ревнуют те, кого уже не любят.

\* \* \*

Ночь добрела теперь уж до болот,  
Угрюмая, пропахшая смолою.  
Рассвета соколиное крыло  
Бесшумно вознеслось над Касмалою.

Звезда упала. И возшло зерно.  
И где-то в роще, важен и опрятен,  
Как будто в безответное окно  
Нежданным гостем тарабанит дятел.

Евгений БЕССМЕРТНЫХ

\* \* \*

Разбужен среди ночи дыханьем весны,  
чуждак вдруг заметил, как звезды ясны.

Ладони подставив, доверчиво ждет,  
что прямо в ладони звезда упадет.

О небо,  
прерви свой холодный покой —  
Звезду урони, чуждака успокой.

г. Бийск

Александр БЕЛОКОПЫТОВ

**ОКТАБРЬ**

Леса теплы осенним светом,  
Хотя и строже, и темней.  
Земным цветам, по всем приметам,  
Осталось жить немного дней.

Недавно с шелестом певучим  
Клубился светлый листопад.  
Вчера листву сгребали в кучи  
И жгли, опустошая сад...

Часы осеннего затишья,  
Последнее тепло земли.  
И неба грустное величье  
С гусиным клинышком вдали...

Следить умом непостижимо,  
Томительно люблю, когда  
В пруду темна и недвижима  
Стоит глубокая вода...

Не дрогнет лист,  
Не шелохнется  
Летучий пепел из костра.  
И только эхо отзовется  
Точь-в-точь  
Как брат или сестра...

р. п. Алтайское

Татьяна ГЛАЗЫРИНА

**ПЛАЧ-ПЕЧАЛИ**

Ой вы, ветры, буйные ветры,  
закручиньтесь и разнесите  
плач-печали по белу свету!..

Ты, сестрица моя, зарница,  
будоражь своим цветом память,  
не давай ничему забыться!..

Ой ты, зелень-трава привольна,  
докричись до каждого сердца!  
Хватит войн и крови довольно!..

Ой, костер, ты мой костерище,  
донеси и людям напомни,  
чем же пахнет оно, пепелище!..

г. Бийск

Валерий КУНИЦЫН

В нескольких километрах от Шеба-  
лина, на Чуйском тракте, высится  
скала — Ангаков камень, где в годы  
гражданской войны погиб красно-  
гвардеец Ангаков.

**АНГАКОВ КАМЕНЬ**

В глазах стоит зеленый пламень —  
то хвойный лес передо мной.  
И рядом с ним Ангаков камень —  
как боль и скорбь земли родной!..

Кружится сокол в поднебесье,  
о камни глухо бьет река...  
Я напеваю тихо песню  
про молодого паренька.

Полынь, как горькая примета.  
Скала, как памятник встает...  
А в зыбкой тишине рассвета  
одной судьбы недостает...

\* \* \*

Стынет вечер в продутом логу,  
след марала, как слепок с души,  
сушняком я костру помогу  
в глухаринной, промерзлой глуши.

И сморит удивительный сон:  
на высокий заснеженный склон  
огоньки-снегири упадут...  
Землянику здесь летом найдут.

Пляшет пламя костра на снегу,  
и сибирский морозец трещит,  
как птенца, я костер берегу  
под разлапистой елью в тиши.

г. Горно-Алтайск

### Зинаида МЕЛЬНИКОВА

\* \* \*

Везет мне — ты удача,  
враги кругом — защита.  
Поэтому не плачу,  
и сердце не закрыто.

Весной — ты солнца лучик,  
зимою — снег хрустящий.  
Не будет, видно, лучших —  
ты самый настоящий.

### **НЕ ВЕРНУЛСЯ...**

Не вернулся —  
лишь боль обжигающих строк,  
что погиб в боевой операции.  
Не вернулся —  
и счастья обещанный срок  
затерялся в не нашей акации.

Не вернулся —  
слова тяжелее свинца.  
Как же так, как же так:  
дочь растет без отца!!

Виснут ветви берез,  
никнет долу трава.  
Как же так, как же так:  
в двадцать два — и вдова!!

с. Ребриха

### Полина СЕДАШОВА

#### **ВETERАНЫ**

Отшумел ледоход. Журавлиные стаи  
возвратились в Россию с чужой стороны.  
А снега на висках ветеранов не тают,  
а на лицах —  
морщины и шрамы войны.  
Их все меньше в строю. И сутулятся  
спины —

нелегко мир спасенный  
нести на плечах.

И идут к обелискам  
под крик журавлиный,  
слез не пряча в глазах.  
Этим белым снегам никогда не растаять,  
сколько б лет о Победе не пела весна.  
...Вот и снова она, неостывшая память,  
вызывает  
погибших солдат  
имена!..

р. п. Поспелиха

### Иван СЕМОМЕНКОВ

#### **ПЕРВАЯ ЖАТВА**

Я без привычки набивал мозоли,  
они чернели, лопались потом.  
И строго улыбался дядя Толя,  
бинтуют руки носовым платком.

Я прятал руки — мне казалась  
пустой затеей процедура та:  
из-за бугра зловеще напознала  
наполненная ливнем темнота.

Но, как всегда, неумолим был старший:  
— Не егози!...  
Разведрит небо в срок,  
а руки наши пригодятся пашням,  
их береги —  
они одни, сынок...

И вновь валок торопко и ежисто  
шуршал и полз,  
щетинилось жнивье.  
И шнек плескал струею серебристой —  
мой первый хлеб,  
крещение мое.

г. Бийск

Сергей ФИЛАТОВ

## РИФМОВНИК ДЛЯ ВОРОБЬЕВ

К слову «холод» рифма — «голод».  
 В феврале метель метет.  
 А в окошке сытый кот  
 в снежной рамочке узора.  
 Этот кот большой хитрец:  
 «кошки» — «мышки» — «воробьишки»...  
 Ты запомни эти рифмы,  
 оперившийся птенец!  
 Будет март, потом апрель,  
 и конец наступит стуже:  
 брызнет радостно наружу  
 воробьиная капель!  
 Выйдет кот и будет греться,  
 выгибаться и мурлыкать,  
 улыбаться наконец...  
 Ты не верь ему, птенец!  
 Он весне, конечно, рад,  
 но не верь ему, мой милый,  
 потому что в этом мире  
 нету рифмы друг и враг!

г. Бийск

Ида ШЕВЦОВА

## НАДЕЖДА

Был воздух радостью настоян.  
 И я играла под листвою  
 черемухи душистой,  
 майской  
 в юбочке простенькой  
 и майке...  
 Я знала,  
 мой отец погиб.

Но...

Вдруг  
 из-за угла пристройки  
 мелькнули чьи-то сапоги,  
 я подняла глаза,  
 и строгий  
 шел офицер при орденах.  
 Я замерла от удивленья:  
 он к дому нашему свернул!  
 Какие могут быть сомненья,  
 так орден радостно сверкнул!  
 «Мой па-  
 па,  
 па-пка...

Ты вернулся!!» —  
 из горла вырвалось, как стон.

Мужчина резко обернулся:  
 «Ошиблась, девочка».  
 ...И я к черемухе —  
 листом.

г. Бийск

Григорий ЧАРИКОВ

## ЖИВАЯ ВОДА

Мы держали оборону.  
 И, как самый молодой,  
 Каждый раз спускался к Дону  
 Я ночами за водой...  
 Автомат мне давит шею,  
 Котелки ладони жгут.  
 Я ползком спешу в траншею,  
 Где меня солдаты ждут.  
 Пьют бойцы, не брякнув крышкой,  
 Шутят ласково со мной:  
 «А нельзя ль достать, братишка,  
 Нам еще воды живой!»  
 Вспомнил я родник подгорный,  
 Скрытый порослью берез.  
 И однажды ночью черной  
 Я воды живой принес.  
 А к рассвету бой случился —  
 В каждом дух победы жил, —  
 Кто-то выжил, отличился,  
 Кто-то голову сложил...  
 С высоты восьмидесятых  
 Многим это не понять —  
 В сердце старого солдата  
 Боль утраты не унять.  
 Даже дня не проходило,  
 Чтоб не вспомнилось на миг  
 Фронтовых друзей могилы  
 Да с живой водой родник.

## СОЛДАТСКИЕ СТРОКИ

...Не пылит дорога,  
 не дрожат кусты.  
 Подожди немного —  
 отдохнешь и ты.

Из Гете

Тяжела дорога:  
 камень да песок.  
 Ну, теперь немного —  
 отдых недалек.

Трудновато было.  
 Что там впереди!  
 Впереди! Могила.  
 Что же стал! Иди...

п/о Малиновское  
 Завьяловского района

Игорь ИВАНОВ

## АРТЕКСТВО

Навсегда останется в памяти сбор, на котором меня второй раз приняли в пионеры. Было это 23 мая 1985 года на Малой сцене театра имени Моссовета в Москве. Признаюсь, испытывал большее волнение, чем когда-то в третьем классе. В театре в тот день собралось множество людей пожилого возраста, а на традиционный сбор сводного пионерского отряда артековцев военных лет. Были на сборе и воспоминания, и песни, и танцы. Но самый главный для меня момент — прием в члены сводного отряда. Акт торжественный и волнующий: ведь прежде чем настал миг, когда мне повязали пионерский галстук, было время испытания на верность артековским законам и традициям.

### ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Московская встреча 1985 года не первая для меня. Знакомство с военным Артеком, сначала заочное, потом и очное, произошло в 1983 году, когда я, вожатый дружины «Полевой», был с отрядом в музее истории Всесоюзного пионерского лагеря «Артек». Экскурсовод обратила внимание на стенд с датами «1941—1945 годы». Годы войны. А потом спросила: «Есть ли здесь кто с Алтая?» И очень обрадовалась, когда я назвал. А потом стала рассказывать о военном Артеке, эвакуированном в Белокуриху, о доброте, заботе сибиряков к пионерам, о трудной, но незабываемой артековской смене, продлившейся несколько лет. Приятно было слышать за многие километры от дома эти добрые слова о родном крае. И неловко было в то же время за то, что почти ничего не знаю об этой странице истории знаменитого пионерского лагеря.

Вернувшись домой, стал искать следы алтайского Артека. Не предполагал я тогда, что уже несколько лет в барнаульском городском Доме пионеров занимаются поиском артековцев военных лет ребята из штаба «Искорка», которым руководила Елизавета Львовна Квитницкая. Потом их эстафету перенял штаб «Поиск» краевого Дворца пионеров и школьников под руководством Александров Васильевны Лахно. Все материалы, собранные «Искоркой», были переданы в музей Артека. Они заполнили «белое пятно» в истории лагеря. За большую поисковую работу командир штаба Ольга Морозова была занесена в Книгу почета Артека.

А параллельно шел поиск следов Артека школьниками Белокурихи. Вместе с руководителем штаба «Артековец» Раисой Ивановной Бердниковой юные следопыты записывали воспоминания жителей курортного города, находили корпуса, в которых размещался лагерь, переписывались с артековцами.

Обо всем этом я узнал позже, на встрече отряда в Белокурихе. Была осень 1984 года. По заданию детской редакции краевого радио я выехал на слет артековцев. Это были пять незабываемых дней. Дней, за которые я узнал много добрых, счастливых, отзывчивых людей — артековцев военных лет. В разгар бабьего лета Белокуриха оживает разноцветьем красок. А в тот год преобладала красная. От галстуков.

Белокурихинская встреча была двадцать второй по счету, но впервые на алтайской земле. После сорока лет артековцы вновь встретились у подножия горы Церковки — сибирского Аю-Дага. Словно побывали в далеком военном детстве.

Так же, как в войну пионерами, а теперь ставшие людьми с солидным жизненным стажем, ходили они по коридорам старенького, уже потерявшего человеческую теплоту корпуса, заглядывали в пустые комнаты, и происходило чудо. Для них эти комнаты наполнялись не только мебелью, но и духом далеких военных лет. Оживала история. Этот корпус и через сорок с лишним лет напомнил артековцам об их счастливом детстве. Да, счастливом. Но счастье это не было равно сытости и спокойствию.

А вечером в белокурихинской гостинице — оживление, смех, разговоры. Пожелтевшие от времени фотокарточки переходят по кругу и слышится негромкое: «А помнишь?..» И снова выплескивается целый поток воспоминаний. Как же можно забыть хотя бы день, проведенный в Белокурихе?!

### ВОЙНА

Ночную тишину нарушает монотонный плеск волн. Цепочки фонарей бегут между корпусами к морю. Артек спит. Предрасветный сон самый крепкий.

Неожиданно тишину пронзает усиленная динамиками сирена. Суровый голос Левитана сообщает, что сегодня, 22 июня, в 4 часа утра началась война.

Вожатые уже в отрядах, поднимают



ребят. Вскоре дружина собралась на костровой площадке. Построились. Впереди — знамя дружины. Бесшумно колонна двигается к памятнику Неизвестному матросу...

Так сегодня начинается в Артеке 22 июня — день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз.

Все было так же неожиданно и тревожно и в далеком 1941 году. Только не стоял еще памятник Неизвестному матросу, и сотням его однополчан еще предстояло погибнуть за Артек.

18 июня 1941 года лагерь принимал очередную летнюю смену. Съезжались группы пионеров Кавказа, Средней Азии, Молдавии, Украины, России, Прибалтики, Белоруссии.

«Всех, всех, всех — с приездом!» — звучало артековское приветствие. Расходились по отрядам, уже познакомившись. Не все хорошо владели русским языком, но общению помогали выразительная жестикация и горячее желание подружиться.

Особое внимание обращали на себя ребята из Прибалтики. Ведь «из заграницы!» Эти республики недавно, в 1940 году, вошли в состав СССР. Советская власть там делала первые шаги, только образовались первые пионерские отряды. Для эстонских пионеров путевка в Артек — большая награда. Со всей республики в знаменитый пионерский лагерь направили лишь двадцать пять человек — отличников, активистов. Впервые ребята увидели Ленинград, Москву, проехали и увидели половину России, о которой раньше знали понаслышке.

На 22 июня, воскресенье, был назначен большой пионерский костер и церемония открытия нового сезона лагеря Суук-Су. Поэтому свободных минут не было. Лагерь превратился в большую концертную поляну. Кто возле корпуса, кто на веранде репетировали номера художественной самодеятельности. Каждой делегации хотелось показать на концерте лучшие номера, все свои таланты.

Вечером 21 июня Артек засыпал в предчувствии ярких событий: завтра праздник!

Но утро принесло трагическое известие. Возвратившись с пляжа, ребята увидели в корпусе какое-то волнение: девочки плачут, о чем-то говорят. На вопросы ответ был один: война! Всем сразу становилось понятным значение этого слова. И лишь эстонские девочки, в том числе и Айно Саап, смотрели друг на друга с недоумением. В школе они первый год изучали русский язык, знали его плохо. Они понимали самые простые, необходимые для общения фразы: «Как тебя зовут? Где живешь? Как учишься?» А слово «война» было совсем непонятным. И лишь по настроению подруг и своей вожатой Нины Храбровой поняли: слово это не обещает ничего хорошего.

А в это время в Артек ехала еще одна группа — литовских пионеров. Автобус мчал их к Южному берегу Крыма. На пути встречались колонны красноармейцев. «Наверное, на маневры», — думали ребята и весело махали руками.

Не знали литовцы, что уже несколько часов на Советской земле идет война, и что красноармейцы идут на фронт.

...Костер в этот день был отменен.

## НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ

Война отменила все планы. Дети из республик Средней Азии и Кавказа, из России разъехались по своим домам. Отправилась в Москву группа пионеров из столицы. Постепенно пустел лагерь. Остались делегации Прибалтики, Украины, Белоруссии. Им некуда было возвращаться. В родных городах и селах хозяйничали фашисты.

Уже в начале июля стало ясно, что в Крыму оставаться опасно. Было принято решение эвакуировать лагерь в тыл, и последние пионеры покинули Артек.

Первый пункт эвакуации — подмосковная станция Сходня, санаторий «Мицыри». Прибыло сюда триста ребят и четверо вожатых. Дорога уже многому научила и прежде всего — самообслуживанию. Старшие девочки прекрасно управлялись с хозяйственными делами. Украинки Лена Гончаренко и Шура Костюченко, литовская девочка Гене Эрсловайте, эстонки Этель Силларанд и Ланда Рамми работали на кухне, мальчики оборудовали лагерь. Договорились о помощи соседнему колхозу. После завтрака выходили в поле. Июль. Солнце стоит над самой головой. Ни тени, ни ветра. По всему полю белеют панамки пионеров. Работа трудная, многие занимаются ею впервые. Но ребята не хныкают. Они тоже работают на победу. Урожай с этого поля попадет на фронт, и бойцы сильней будут бить врага. Так думают пионеры, и эти мысли помогают преодолеть усталость. Во многих бороздах слышны песни.

Если провести прямую линию от Крыма до донской станции Нижне-Чирской, то получится совсем немного — чуть более девятисот километров. Это же так близко! Артек переехал из Подмоскovie на юг. Не рассчитывали, что война будет долгой, поэтому и обосновались поближе к Крыму.

Нижне-Чирская встретила ребят богатым урожаем. Созрели яблоки, дыни, арбузы... Они требовали рабочих рук, поэтому сразу после устройства лагеря ребята начали помогать колхозу. В Подмоскovie уже научились работать, появилась сноровка. Харри Лийдемани из эстонской группы в станице впервые увидел арбу, запряженную быками. Картина для ребят Прибалтики экзотическая. Но прошло несколько дней и Харри прямо-таки с крестьянской сноровкой научился управлять быками.

В Нижне-Чирской произошло знаменательное событие: 3 августа 1941 года состоялся большой пионерский костер в честь открытия летней смены. Артек продолжал существовать.

С наступлением осенних холодов сразу после ноябрьских праздников сорок первого года лагерь снова был эвакуирован. На этот раз в Сталинград. Здесь на Кронштадтской, 21 предстояло жить долгую и трудную зиму.

Сталинград встретил ребят сурово и неприветливо. На окнах — светомаскировка, небо часто пронизывали огни зенитных прожекторов. Зима была ветреная, морозная.

Артек жил по-походному. Расположились на четвертом этаже школы. За неимением кроватей стелили гимнастические маты. На день они сворачивались и служили сиденьями. С трудом достали для ребят зимнюю одежду: шапки, валенки, бушлаты. Конечно, размеры были большие, и старшие девочки под руководством вожатой Тоси Сидоровой подгоняли одежду по росту ребят.

Будни заполнены полезными делами. Помогали взрослым: разгружали вагоны с кирпичом, дровами, углем, расчищали железнодорожные пути. Паковали посылки на фронт.

Основное занятие — помощь госпиталям. Собирали в Татарской слободе ложки, чашки, вилки, книги, простыни для госпиталей, выступали перед ранеными, писали по их просьбам письма, мыли полы, носили воду, стирали бинты. Свободного времени не оставалось. Но все-таки удавалось выкроить час-другой, чтобы учиться. Занимались самостоятельно по нескольким учебникам, которые удалось достать. Старались не отстать от сверстников в знаниях. А эстонец Виктор Пальм, наверное, превзошел всех. Он от корки до корки прочитал «Диалектический материализм». И это в четырнадцать лет! За такое рвение его прозвали «профессором». Кстати, сегодня Виктор Пальм — профессор Тартуского университета, член-корреспондент Академии наук Эстонской ССР.

Артековцы выросли. Многим уже исполнилось четырнадцать лет. 26 декабря 1941 года в лагере была создана первичная комсомольская организация. Виктор Пальм, Натан Остроленко, Светлана Косова, Борис Макалец, Лена Гончарова, Иоланда Рамми, Бенья Некрашиус и многие их товарищи составили единый многонациональный комсомольский отряд, цель которого — помощь фронту. Сталинград стал важной вехой в биографии ребят.

В начале сорок второго года участилась налеты вражеской авиации на город. 23 апреля он подвергся массовой бомбардировке с воздуха. И весенним днем 9 мая Артек выехал в более безопасное место — санаторий «Серебряные пруды» возле районного центра Фролово Сталинградской области.

На время снова не слышались раскаты взрывов.

Лагерь теперь был разделен не только на отряды, но и на хозяйственные бригады. Алеша Дибров, Миша Фоторный, Натан Остроленко, Игорь Сталевский работали на тракторе, эстонские ребята во главе с Володи Аас обслуживали электростанцию, кухонную бригаду возглавлял Жора Костин, были медсестрами Ауста Кралина, Галля Товма. Остальные тоже входили в бригады: огородников, художников-оформителей, прачек, парикмахеров. Володя Николаев и Адольф Тамм (а по-артековски Муля) заведовали «конным двором». «Конный двор» — это старый коняга по кличке Битючка. Воду из прудов использовали только для хозяйственных нужд, а для питья возили на Битючке из колодца.

Артековцы жили не одни. По соседст-

ву расположился госпиталь. Он стоял на переформировании, потому что попал под бомбежку. С госпиталем у пионеров завязалась крепкая дружба.

Как-то начальник лагеря Гурий Григорьевич Ястребов вызвал вожатую Нину Храброву и сообщил, что троица эстонских ребят приглашают в Москву на антифашистский митинг эстонской молодежи. После долгого обсуждения кандидатур выдвинули Салме Кару, Кальо Полли и Тамару Крончевскую. Сообща составили им речь, собрали в дорогу.

В Москве у ребят не было свободной минуты. Встречались с членами правительства ЭССР, были на беседе в ЦК ВЛКСМ, давали интервью в редакции «Пионерской правды». И, конечно же, незабываемый день 21 июня. Салме говорила с трибуны митинга о жизни военного Артека, а Кальо и Тамара во время выступления стояли рядом и держали руки в пионерском салюте. Здоровые, аккуратные и красивые дети произвели на делегатов большое впечатление. Все узнали, что Артек жив, что он не просто цел, но и работает, борется за победу. Но больше всего доставили ребятам радости своим родителям. Об этом эстонцы узнали уже после войны. Митинг транслировался по радио на всю страну. Слушали его и в оккупированной Эстонии. Постепенно друг от друга родители узнали, что их дети живы, здоровы и в безопасности.

Обратно в «Серебряные пруды» возвращались под непрерывной бомбежкой. Это был последний состав, прошедший в Артеку из Москвы.

И снова Артек отправился в путь. На грузовиках добрались до Камышина. Дальше — пароходами по Волге, Каме, Белой. Остановились в Уфе, а оттуда поездом через Урал и Западную Сибирь. В Бийск. Наконец остановка на долгие четыре года в Белокурихе. Позади — война, взрывы, налеты вражеской авиации, стоны раненых в госпиталях, кочевая жизнь, вагонная грязь. Но эти тревожные дни дали многое. Ребята стали взрослее, рассудительней. Научились обслуживать себя, заботиться друг о друге. Привыкли к труду, который стал для них необходимостью. А главное — сложился крепкий артековский коллектив, интернациональный отряд.

Пройдет много лет, кончится война. И окажется, что все, чему научила прифронтовая жизнь, пригодится. Умение работать, жить в коллективе, стойко переносить невзгоды и трудности поможет всем им определить свое место в жизни.

### САМАЯ ДОЛГАЯ СМЕНА

11 сентября 1942 года артековцы приехали в Белокуриху. Разместились в третьем корпусе санатория. Осень была в самом разгаре, разноцветьем полихали окрестные горы, тишину пронзал звон ручья. Здесь, вдали от фронта, жизнь шла размеренная, отличная от той, из которой вернулись ребята.

Вечером пошли в столовую. На столах — белые скатерти, букеты ярких осенних цветов. И это после грязных теплушек! С наступлением сумерек зажегся свет. Несколькими голосами, как по команде, выкрикнуло: «Светомаскировку забыли!» И вспомнили, что здесь она не нужна. Фронт далеко, и жизнь теперь пойдет совсем другая.

В Белокурихе артековцы наконец-то смогли продолжить учебу. Пошли в местную школу. Учиться было трудно. Не только потому, что писать приходилось на старых газетах, книгах, но и потому, что преподавание велось на русском языке, а многие артековцы, особенно ребята из прибалтийских республик, владели им плохо. И тем не менее почти по всем предметам у пионеров были отличные оценки. Глядя на повыших одноклассников, и сельские ребята стали подтягиваться в учебе, следить за своим внешним видом. Дружба была настоящей. Вместе весной работали на сплаве леса, зимой отряхивали снег с деревьев в колхозном саду.

Артек пережил несколько эвакуаций, что это стоило, знал, пожалуй, один начальник лагеря Гурий Григорьевич Ястребов. Человек интересный и удивительный.

Гурий Григорьевич — донской казак. В четырнадцать лет вступил в комсомол, сражался бойцом в войсках ЧОНА. После гражданской войны пошел в журналистику. До Великой Отечественной войны работал в «Известиях». Но из-за болезни, требующей постоянного лечения, уехал жить в Крым. Собирал материал для будущей книги об Артеке. Война внесла свои изменения. По состоянию здоровья Ястребова на фронт не взяли, предложили стать начальником Всесоюзного пионерского лагеря «Артек».

С первых дней войны Гурий Григорьевич определил главное направление работы лагеря: ребята в такое время не должны висеть на шее у государства, лагерь обслуживал себя сам и помогал стране.

Второе обязательное условие — дисциплина и строгий режим. Чтобы не «упустить» ребят, не дать им впасть в меланхолию и слезливость, нужно было четко распределить все дневное время — от подъема до отбоя. Артек хоть и эвакуирован из Крыма, все равно оставался образцовым пионерским лагерем. А значит, должны были выполняться все пионерские законы, ритуалы, традиции.

Если Гурий Григорьевич был капитаном артековского корабля, то первые его помощники — вожатые. На них лежала большая ответственность — не просто сохранить ребят целыми и здоровыми, но и воспитать истинных граждан нашей страны.

Из Крыма на Алтай прибыло всего трое вожатых. Трое на более двухсот ребят. Зато каждый вожатый был человеком интересным и удивительным.

Володя Дорохин. Трудно назвать умение, которое бы выделялось у Володи больше всего. Пожалуй, главное его качество — веселость, чувство юмора. Даже в годы войны. При долгих переездах, когда все

ребята уставали, портилось настроение, Володя умел пошутить, взбодрить.

На Алтае Дорохин был старшим пионерским вожатым. По состоянию здоровья — из-за сильной близорукости — на фронт его долгое время не брали. Но он рвался в армию. В 1943 году он все-таки ушел на фронт. И не вернулся.

Тося Сидорова. На вид была девушкой суровой. К такой я подойти боязно. Но это лишь для человека незнакомого. Те, кто общался с Тосей, и взрослые, и пионеры, в один голос утверждают, что она — душа-человек.

Как Володя, Тося умела все, что касается жизни пионерского отряда: барабанить, проводить костры, сборы, знала все пионерские ритуалы и атрибуты. Отличала ее особая пунктуальность. Тося любила во всем порядок и аккуратность. В Артеке она была не случайным человеком. Профессия вожатого — ее призвание. В 1935 году по направлению комсомола она поехала на Всесоюзные курсы пионерских вожатых и комсомольских работников при ЦК ВЛКСМ в Одессу. После курсов работала старшей пионервожатой в одной из школ города Ржева. Потом — в Артеке.

Нина Храброва. Родилась в буржуазной Эстонии, училась в Нарвской гимназии, летом работала в дедовском хозяйстве: косила, жала, боронила поле, доила коров. После гимназии училась в Таллинском Педагогуме. В 1940 году с приходом в Эстонию Советской власти Нина вступила в комсомол, занималась общественной работой. И вдруг в июне сорок первого ей предложили сопровождать группу пионеров в Артек и поработать в лагере вожатой. Опыта не было, первое время приходилось трудно. Но помогали Володя, Тося. Они были для Нины школой пионерской работы, образцом, эталоном современного вожатого.

Уже в Белокурихе в лагере появился Володя Смолов. Это было в 1943 году. После тяжелого ранения Владимира демобилизовали. Смириться с положением инвалида он не мог. Когда приехал в Белокуриху к своей семье, решил найти полезное дело. До войны Владимир был комсомольским работником, потому и предложил Артеку помощь в военно-патриотическом воспитании.

Пополнился отряд вожатых и белокурихинцами: стали работать в Артеке Тася Бурькина и Муза Друбазева.

Тася оставила Томский университет: время военное, нужно было помогать семье. Муза раньше работала пионервожатой в школе, потом — медсестрой на курорте. По предложению Гурия Григорьевича перешла в Артек.

Появление Музы и Таси в коллективе лагеря было нужным. И потому, что не хватало вожатых, и потому, что они хорошо знали Алтай, могли рассказать о нем ребятам много интересного.

Состав вожатского отряда в военном Артеке был невелик. Но это были действительно ребятами комиссары. Они умели все и в первую очередь — зажигать личным примером.

### АЛТАЙСКИЙ АРТЕК

За годы войны вошло в обиход выражение «алтайский Артек». Сочетание непривычное. Ведь первое, что приходит на память при упоминании лагеря — это солнце, море, кипарисы, силуэт Аю-Дага. А в военное время все было иначе. Вместо моря — речушка, звонкая и чистая, вместо Аю-Дага — гора Церковка. Солнца, правда, хватало, особенно в летнюю пору. Алтай стал домом для артековцев. Здесь они уже не отдыхали — жили. Дружина была семьей, корпус — домом, вожатые — родителями. Конечно, всем хотелось домой, вспоминали своих пап и мам, вычитывали в сводках все маломальские упоминания о родных местах. Но лагерь не превратился в обычный детский дом, каких в войну было много, он все равно оставался АРТЕКОМ, таким, каким его знали во всем мире.

И поэтому с 1 марта 1943 года лагерь стал снова принимать ребят посменно. Правда, эти смены по разным причинам длились иногда по несколько месяцев. Но главным оставалось то, что путевка в Артек по-прежнему была высокой наградой.

В первую смену приехали пионеры из городов Сибири: Омска, Новосибирска, Кемерово, Барнаула. Эти ребята не были возле фронта, как «старые» артековцы, но судьбы у многих были тоже нелегкие.

Теперь лагерь делился на две группы: «старых» артековцев и «новых». Но это деление было условным. «Новые» и «старые» быстро находили общий язык, завязывалась дружба. Из смены в смену передавались артековские традиции.

Шефство над новенькими взяли «старые» артековцы. Володя Аас стал вожатым во втором отряде, Айно — в третьем.

Хлопот, конечно, прибавилось. Не сразу втянулись в общий артековский режим приехавшие, иногда шалили, нарушали режим. Как-то раз омиц Женя Разгуляев с товарищами самовольно ушел в горы. После завтрака они решили быстро подняться на Церковку, а к беду вернуться. Но заблудились среди горных тропок и вышли к курорту только перед ужином.

А в это время весь лагерь был поднят на поиски.

Вожатая Нина Храброва рассердилась на ребят не на шутку. На общелагерной линейке «всыпали» гулеванам по первое число и даже пообещали отправить домой досрочно. Но к такой мере прибегать не стали: ребята искренне раскаивались в своем поступке.

Одна смена пролетела как миг, наступила вторая, третья. Большое оживление привезли с собой курсанты морской спецшколы. По возрасту — мальчишки, лет по шестнадцать. Рвались на фронт, но по молодости сначала были направлены на обучение в спецколу. Курсанты чувствовали себя настоящими воннами, походка — уверенная, вразвалочку, матросская форма подогнана. Хлопот с ними было много. Чувствовали себя взрослыми и не соглашались отдыхать на абсолюте (артековском тихом часу). Вожатые хоть и строжились, но понимали их: после отдыха в лагере курсантам предстояло идти на фронт.

За один только 1943 год в Артеке отдохнуло 787 человек. Распределение путевок шло через ЦК ВЛКСМ и Народный комиссариат здравоохранения. Путевки выдавались в первую очередь детям, нуждающимся в отдыхе, усиленном питании и лечении. Ребятам назначались общеукрепляющие процедуры: водные, воздушные и солнечные ванны. Большое внимание уделялось гимнастике, разным видам спорта и трудовому воспитанию.

Поездка во Всесоюзный лагерь была событием, о котором сообщали даже газеты. Вот только одна заметка в «Алтайской правде» за 2 апреля 1944 года.

### НА ОТДЫХ В АРТЕК

Подросток Вася Находкин зарекомендовал себя в колхозе «Юный пролетарий» Барнаульского сельского района отличным конюхом. Его лошади всегда упитаны, несмотря ни на какую работу. Это результат заботливого ухода за конем.

Миша Смирнов из колхоза имени Урицкого, того же района, на вывозе зерна выполнял норму на 120—130 процентов. Такую же производительность на пахоте в колхозе «Труд Ленина» давал Шура Воробьев.

Все трое подростков получили... путевки в «Артек».

Сотни ребят побывали в алтайском Артеке за годы войны. Но о судьбе большинства из них ничего не известно. Стараниями Ларисы Семеновны Ажиганич, артековки военных лет, найдено несколько человек: Евгений Павлович Разгуляев, ныне начальник СКБ омского завода «Электроточприбор», лауреат государственной премии СССР; Валентин Петрович Ясаков, художник-модельер Дома моделей Барнаула; Лидия Владимировна Ерофеева из Анжеро-Судженска, преподаватель русского языка; Надежда Васильевна Хомутова из Северо-Курильска, некоторые другие. Список небольшой. Но есть надежда, что пионеры алтайского Артека, прочитав эти строки, откликнутся, дадут о себе знать.

Война уходила все дальше на Запад. Освобождались республики нашей страны, разъезжались артековцы.

Некоторых забирали домой родители. Валя Трошина уехала в Омск на курсы радистов при управлении Иртышского пароходства. Ваня Заводчиков, Игорь Станевский, Володя Николаев, Яша Олесюк, Тадеуш Граляк поступили в Бийске в ремесленное училище. За старшими эстонскими ребятами приехала инструктор ЦК ЛКСМЭ Лейли Ыунапуу. В Пушкине, под Ленинградом, они будут обучаться на курсах, чтобы быть в освобожденной Эстонии комсомольскими работниками.

Артек сворачивал свою работу в Белокурихе. Кончилась самая долгая — в четыре года — смена. Много было за это время тревог, волнений, радостей. И тяжело было



На открытии мемориальной плиты в Белокурихе 11 сентября 1984 года.



Встреча в Белокурихе в 1984 году. И через сорок лет узнали жители Белокурихи артековцев.

думать, что скоро всем предстоит расстаться. Каждому нужно было выбирать свою дорогу в жизни.

### ВСТРЕЧИ

Теперь у артековцев военных лет есть свой архив. В нем рядом с небольшими фотографиями сорок второго — сорок пятого годов лежат более новые, не успевшие пожелтеть от времени. На них запечатлены моменты послевоенных встреч.

После окончания военной смены артековцы разъехались по всей стране, но не прекращалась связь. Писали друг другу письма, слали фотографии, просили советов, делились радостями и сомнениями. Так же, как и прежде, не было равнодушия к судьбам своих друзей.

Но письма письмами, много ли в них расскажешь? Вот если бы встретиться всем вместе, поговорить о прошлом и настоящем! Эта мысль занимала всех.

Встречались и раньше, но чаще по делегациям. Москвичи собирались у Вали Тазловой-Крайневой, латыши — у Аусты Крамини-Луцевич, эстонцы — у Ланды Рамми, литовцы приезжали к Марите Растекайте, белорусы сосредоточились вокруг Юры Мельникова и Иры Мицкевич, а молдавско-украинская группа собиралась у Тоси Сидоровой.

И вот однажды полетели во все концы письма от Тоси Сидоровой с предложением съехаться к ней на Украину, в Анапьев. Предложение приняли, правда, прибыть смогли не все. Но встреча положила начало хорошей традиции.

Минск, Таллин, Белокуриха, Москва — такова география. Был сводный отряд и в гостях у пионеров Артека. В 1983 году 27 сентября на празднике артековцев всех поколений вышел на костровую площадку «Морского» лагеря и сводный артековский отряд военных лет. Дружными аплодисментами встретили ребята их выступление. В память об этом событии хранится фотография.

Встречи стали не просто традицией, а необходимостью. Они задают настрой, заряжают энергией, бодростью. Да и время теперь тоже имеет другое измерение: не годами, а промежутками от встречи до встречи.

Большой артековский коллектив начал свою жизнь в 1941 году. В сорок пятом ребята разъехались из лагеря. Но отряд не распался, он продолжает существовать. А девизом к нему выбрали строчки из Пушкина:

«Друзья, прекрасен наш союз,  
Он, как душа, неразделим и вечен...»

### АРТЕКСТВО

История знает немало примеров великой дружбы. Но чаще это дружба двух-трех человек. Артековская дружба намного шире. Да и дружба ли это? Может, товарищество? Братство? Все слова не точны, неполностью передают это особое чувство. Мне нравится определение, которое дала

вожатая Нина Сергеевна Храброва — «артекство».

Что это такое? Тем, кто знает Всесоюзный пионерский лагерь только по фотографиям в газетах и журналах, это объяснить трудно.

Артектство — это когда боль одного маленького человека становится болью всего пионерского отряда. Когда радость одна на всех. Когда хочется с товарищами поделиться самыми сокровенными мыслями. Когда труд, даже тяжелый, превращается во внутреннюю потребность. Когда и через годы спешешь разделить с артековским другом и горе, и радость. Из всего этого и складывается понятие «артекство». Удивительно, но факт: даже после тридцати дней жизни в Артеке у каждого отдыхающего появляется много друзей, и дружба эта настоящая в отличие от той, которая обычно бывает во временных детских коллективах. А что говорить о четырех годах совместного житья-бытья, которое провели артековцы в войну!

Артектство, которое я попытался сейчас определить, стало не просто обозначением некоего коллектива. Это, скорее, понятие нравственно, которое еще ждет своих исследователей.

Но ведь черты, перечисленные выше, — это черты идеального человека! — скажет читатель. Действительно, из них складывается образ человека коммунистического будущего. И пусть это не будет громкой фразой: в Артеке закладываются ростки этого человека. Не будем мечтателями — за тридцать дней ребенок не станет идеальным. Да и не в этом состоит задача артековского коллектива. Здесь не делают «эталоны». Главное — научить ребят думать, отвечать за свои поступки, уважать себя и других. А это — основа основ. Если ребенок научится этому — он вырастет настоящим человеком.

Нужны доказательства? Те девочки и мальчики, о которых написано выше, давно выросли, стали бабушками и дедушками. Выбрали свои жизненные дороги.

Нина Сергеевна Храброва — корреспондент журнала «Огонек» по Прибалтике. Харри Эльмарович Лийдеманн — капитан дальнего плавания, водит из Таллина суда к берегам дальних стран. За отличный труд награжден орденом Ленина и другими наградами. Ирнна Борисовна Мицкевич стала учителем литературы в Минске. Майя Исаковна Рогозина из Ленинграда и Елена Павловна Морозова из Рославля — врачи. Этель Силларанд стала журналистом, написала несколько книг, одна из них — «Самая длинная путевка» — о военном Артеке. У многих профессия педагога. Виктор Пальм — профессор Тартуского университета, Алексей Петрович Диброва — директор средней школы на Полтавщине, Тамара Афанасьевна Продан — учительница в Молдавии.

Среди артековцев военной смены много людей знаменитых, заслуженных. Но даже не в этом дело. Не все после Белокурихи стали большими начальниками, зато все и всегда были хорошими людьми. Гражданами!

За это они благодарны Артеку.

Сергей КАШИРИН

## ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ  
ИЗ СЕРИИ «СОВРЕМЕННАЯ СИБИРСКАЯ ПОВЕСТЬ»

Серия «Современная сибирская повесть» появилась совсем недавно, но сразу же привлекла внимание широкого круга читателей. Что ж, интерес к ней вполне объясним. Сибирь, как известно, во все времена вызывала к себе повышенный интерес, а с начала пятидесятых годов она, без всякого преувеличения, на устах всего мира; се стали все пристальнее изучать, все больше писать о ней и снимать фильмы.

Так какая же она — Сибирь сегодня? И почему, говоря о сибиряках, мы неизменно говорим о сибирском характере? Какой он — этот характер?

Вот, пожалуй, первые вопросы, ответы на которые хотелось бы найти в книгах с многообязывающей маркой «Современная сибирская повесть». Ведь повесть — жанр, как известно, емкий и в то же время оперативный, способный если и не по горячим следам, то все же быстрее, нежели роман, дать отклик на события современности.

Впрочем, если рассмотреть первую из книг этой серии — сборник Дибаша Каинична «Крик с вершины», выпущенный Алтайским книжным издательством в 1983 году, то сразу следует вспомнить о том, что повесть — жанр еще и наиболее разнообразный по своим видам. Здесь, так сказать, под одной обложкой соседствуют и повести о наших днях, которые можно назвать очерковыми и лирическими, и повести, относящиеся читателя ко времени становления Советской власти на Алтае, то есть повести исторические.

Такой, к примеру, является повесть «С того берега». Созданная романтическими красками, она посвящена суровой, полной драматических противоречий, действительно двадцатых годов, когда алтайцы жили еще в юртах и вели хозяйство единолично. Как многоводная Катунь разделяла этот глухой в ту пору медвежий угол на два противоположных берега, так люди были разделены на бедняков и басв — местных кулаков. Дымные юрты, сплошная неграмотность, языческие верования, запугивание шаманов и постоянная зависимость от стихийных сил природы — вот удел бедных. И хотя уже отгремела гражданская война, главный герой повести — сын пастуха Учар — продолжал, говоря фигурально, метастая между двумя берегами, не зная, к какому пристать.

«Эх, Учар, Учар, сам не знаешь, чего хочешь, — размышляет он наедине с собой. — Несет тебя, как щепку по реке, а куда принесет?»

Так уж сложились обстоятельства. На одном берегу Катунь стоит юрта его отца — бедного и уже немощного от старости пастуха Курендая. Когда-то, еще до установления Советской власти, будучи не в силах прокормить своих троих детей, Курендай отдал младшего из них — Учара — в услужение богатей Каллистрату. Огромный дом Каллистрата — не дом, а настоящая крепость с почти двухметровой сплошной оградой, — расположен на другом берегу. Много лет провел здесь Учар — привык. Теперь и пора бы вернуться к своим престарелым родителям, а он колеблется: то к одному берегу приплывет на короткую побывку к отцу и матери, то спешит к противоположному — в дом кулака Каллистрата.

Пытаясь как-то удержать сына в родной юрте, старик Курендай поставил на замок лодку и спрятал ключ. Но и это не остановило Учара: он решает пуститься через бурную Катунь вплавь.

Что же влечет его туда, на другой берег? Неужто только лишь привычка к иной, сытой жизни в доме мироеда, который сумел, что называется, прикормить его, областить и приучить, отбив даже от родителей? Нет, все дело прежде всего в том, что Учару давно уже приглянулась дочь хозяина — красавица Федосья...

Характер Учара складывался на алтайской национальной почве, как его органическое порождение. В поисках и сомнениях несокрепшей души этого героя нашли отражение трудности приобщения алтайского народа к новой жизни. Не ломка характера на крутом историческом повороте, а пробуждение и толчок к развитию в нем лучших качеств, унаследованных от дедов и прадедов, — вот что занимает писателя. И образ Учара — весь из тех древних преданий, мифов и языческих верований, которыми алтайцы жили веками.

Вот каким он предстает перед нами, готовясь вплавь броситься через широкую, холодную и многоводную от тающих ледников Катунь: «Я — изюбр, вышедший на схватку с соперником, я — медведица, защищающая своего детеныша. Я — натянутый лук, готовый пустить оперенную стрелу

во врага. Я — таймень, несущийся к тому берегу, разрезающий алыми плавниками упругость холодных вод. Я иду к своей Федосье, и никто меня не остановит, даже ты, Катунь».

Каждое слово здесь, как и вообще во всей повести, дышит народной поэзией, интонацией и образностью национальных преданий. В краткой аннотации к книге «Крик с вершины» отмечено, что Дибаш Каинчин родился и теперь живет и работает в селе Яконур в Горно-Алтайской автономной области. Но, читая его произведения, и без того чувствуешь, что писатель создает их не просто на хорошо освоенном, а на органически близком ему, родном материале. Именно это и делает его прозу многокрасочной, глубоко лиричной, а язык — близким к сказовому.

И люди в этом краю под стать былинным богатырям — рослые, крепкие, не знающие усталости в труде, стойкие в преодолении любых трудностей. Таков Учар — главный герой повести «С того берега», таковы его товарищи, «мужики ядреные, как на подбор, в самой мужской силе». Таков же чабан Суркаш из повести «Абайым и Гнедко» — рос сиротой в голодное время, а вымахал — «шубу носит из двенадцати овчин — мужчина! А на работу... Гектар скашивает за полудня». Под стать ему и его жена Арчин — «крупная, рослая, ей ничего не стоит снять с очага котел, в котором вскипело молоко от трех коров».

Или вот колхозник Бексе из повести «Его земля» — тоже из молодцов молодец, батыр. «Разве такого медведя одолеет усталость? Сейт ему поставить ногу на подножку сельки, как она со скрипом оседает почти до земли. Как говорит дедушка Туткуш, это не человек, а гора мускулов». Строя себе новый дом, он «играючи вкатывал на сруб» девятиметровые толстые бревна.

Суровый климат, огромные немеренные просторы, постоянное преодоление трудностей закаляли этих людей и особым образом отформовали их характеры. Внешне каждый прост, бесхитростен, прямодушен, но вместе с тем каждый — личность, уверенная в себе, кремневая, самобытная. А наиболее примечательными чертами героев Дибаша Каинчина являются доброта и отзывчивость, скромность и трудолюбие, искренность и справедливость в большом и в малом, уважение к человеку труда независимо от того, откуда он родом, безграничная любовь к своей земле.

Повесть «Его земля» близка к очерку, в котором автор, откликаясь на злобу дня, полемизирует с некоторыми, так сказать, ворчунами-балагурами вроде старого Эпишке, привыкшего сетовать на то, что, мол, не та пошла молодежь. Сравнительно небольшое по объему, произведение это густо населено — перед нами целая галерея резко очерченных образов сельских тружеников, которых с полным основанием можно называть героями положительными. Пристально наблюдая за ними в повседневном общении, рука об руку с ними трудясь, вечерний романтично настроенный школьник все глубже и глубже осознает необходимость быть хозяином на своей земле, думать

и заботиться не об одном себе, а о делах всего колхоза, всего общества, всего народа.

В этой повести, как и вообще во всей прозе Дибаша Каинчина, жизнь и заботы героев явлены в формах своеобразных, алтайских, и вместе с тем во многом схожи с тем, что известно жителям сельской местности всей нашей страны. Нынешняя деревенская проблематика сложна и многообразна. Одной из наиболее значительных является, как известно, проблема молодежи. Это проблема не только социальная, но и эстетическая, мировоззренческая. Обращение алтайского писателя к такой проблеме и попытка решить ее на местном материале делают его книгу заметной, значимой и настояющему современной.

Если вспомнить о том, что на книге стоит ответственная марка «Современная сибирская повесть», то в первый момент возникает вопрос: а правомерно ли в нее включены повести, посвященные периоду становления Советской власти? Это уже рассмотренная повесть «С того берега», а также повесть «Голова жеребца», где речь идет о становлении только что созданного колхоза. Лишь затем уже идут «Абайым и Гнедко», «Его земля» и, наконец, заключительная «Крик с вершины», о чабанах наших дней и, похоже, автобиографическая. Все они расположены как бы в хронологическом порядке и тем самым дополняют одна другую. А главное — позволяют исподволь сопоставить, каким был Горный Алтай в прошлом и каким он стал ныне. Так что подбор их в книге следует признать удачным.

Нельзя, впрочем, не сделать одного существенного замечания по повести «С того берега». Выпукло, с глубоким проникновением в психологию очерчивая фигуры бедняков, образы местных кулаков автор нарисовал менее удачно, словно бы все дело в том, что одни из них — злы, а другие — добры по своей натуре. Даже кульминация борьбы сведена к столкновению двух богатеев — алчного и злобного главаря банды Савелия и добродушного, рачительного хозяина Каллистрата, отстаивающего свое добро. Колоритно выписан характер Каллистрата, самыми привлекательными красками, уж до того он добр, что читателю остается лишь умиляться.

Между тем человек, как известно, не зол и не добр от рождения, а всюду и всегда таков, каким его делают классовая среда и социальное бытие. Однако хотя автор пишет, что один из его героев усиленно, ночами напролет штудирует «Капитал», сам он словно бы забыл формулу Маркса: «Бытие определяет сознание». Вольно или невольно звериная эксплуататорская сущность Каллистрата в повести затусована, скрыта. Но если ее не мог в силу своей духовной слепоты и наивности различить батрак Учар, то писатель обязан видеть глубже и дальше своих героев. А без этого и поступки персонажей получаются немотивированными, концовка нелогичной, искусственной.

Создается впечатление, что автора увлекла детективная фабула, и он, увлекшись, социально-нравственные проблемы взялся решать в отрыве от их классовой основы. Поэтому процесс моральной деградации



собственника-миродея Савелия сводится к чувству злобной ревности, а доброта Каллистрата представляет собой патриархальную идеализацию «крепкого хозяина».

Повесть «Голова жеребца» — тоже своего рода детектив, но здесь акценты расставлены с должной четкостью. В ней со знанием дела выведена такая категория людей, которая возмущает писателя своей гибельностью для общих коллективных забот колхоза и всего народа. Это страшные, темной души люди, пекущиеся лишь о личном благополучии. Такими перед нами предстают председатель недавно созданного колхоза Сарбан и заведующий конфермой Пугуш. Злоупотребляя властью, они в трудные голодные годы сытно ели сами и подкармливали кое-кого из начальства выше.

Этим и обеспечивалась их временная неуязвимость. Тем более, что всякими правдами и неправдами им удалось развалить колхозную партакчейку, и председатель сельсовета коммунист Байюрек вынужден был бороться против них, по существу, в одиночку. Однако на его стороне была справедливость — справедливость и восторжествовала, хотя для этого потребовалось, конечно, немало усилий.

Связь человека с землей в прозе Дибаша Каинчина имеет не только и не просто хозяйственный смысл. Воплощаясь прежде всего в труде, эта связь неизменно приобретает этический, нравственный характер. Создавая свои произведения, писатель следует жизни, и тем, кто живет лишь для себя, во имя корысти и животного благополучия, неизменно противостоят честные, благородные во всех своих помыслах люди труда. Их подавляющее большинство, и по беда в конечном счете всегда за ними.

Как это и происходит в повести «Крик с вершины», которая, по всей видимости, отражает сугубо личные впечатления автора, накопленные им за годы жизни в деревне. Одним из персонажей здесь выступает писатель Тукпаш. Он закончил Литературный институт, создал уже не одну книгу, а живет, как и прежде, в колхозе. Только вот председатель никак не поймет, что у него за профессия такая — книжки писать! Мало ли в селе людей с высшим образованием — не сосчитать. Тут и учителя, и врач, и главный зоотехник, закончивший Тимирязевскую академию, но ведь все они работают. Значит, и Тукпаш должен заниматься серьезным делом. Особенно в страдные дни сенокоса или уборки.

В период окота овец председатель посылает Тукпаша сакманить, то есть помогать чабану-гуртоправу. Здесь он и задумывается: а пишут ли о чабанах? Пишут вообще-то, но — как! Обычно о том, что в той или иной трудной обстановке чабан выходит победителем. Скажем, в схватке с волками, которых, по существу, давно уже истребили. И приходит убеждение: вот он — социальный заказ, надо написать об этих простых людях. Причем написать, не лакируя действительность, рассказать о самом обыкновенном — «о работе, о самых обычных мыслях, обычной жизни».

Приняв такое решение, писатель с основательностью исследователя описывает

жизнь, работу и быт гуртоправа, создает правдивую, почти документальную повесть «Крик с вершины». Всем строем этого своего произведения он создает впечатление полной достоверности изображаемых им событий и реального существования действующих лиц.

Повесть не лишена недочетов. Беллетристические и очерковые главы, пейзажные зарисовки и лирические отступления, публицистические раздумья и компоненты сюжетного повествования, воспоминания о прошлом и мечты о будущем — все фрагментарно и все переплелось, словно в жанре единого, но сбивчивого «потока мысли». В содержании ощущается также перегруженность натуралистическими сведениями по уходу за овцами, а отдельные эпизоды имеют излишне патетическую окраску. Однако при всем том в образах главных персонажей убедительно раскрыт неподдельный энтузиазм простых сельских тружеников, их самоотверженность в труде и глубокое чувство ответственности за свое дело.

Читая повесть, чувствуешь и веришь, что это сама жизнь, что не мог автор написать, не пережив всего того, что переживают его герои. Не страшась очерковости, правды факта, Дибаш Каинчин задушевно пишет об увиденном и пережитом, оставляя на долю художественного вымысла подчиненную, второстепенную роль. Для него литературное дело — прямое продолжение жизненной биографии, биографии родного села и края, где он вырос, где сзымалство познал нелегкий сельский труд. И самое важное, самое ценное в его прозе — это пристальное внимание к людям труда. Писатель ищет в своих героях те нравственные качества, спрос на которые особенно велик в наше время.

Дальнейшее развитие нашего общества требует, как известно, не только интенсивного повышения производительного труда, но и дальнейшего совершенствования нравственных качеств каждого человека. Ведь последующие, все возрастающие задачи, как подчеркивал В. И. Ленин, могут быть решены не «героизмом отдельного порыва», а лишь путем «самого упорного, самого трудного героизма массовой и будничной работы». Причем человеческие усилия в этих целях, подчеркивал Владимир Ильич, тем более велики и героичны, что «они простые, невидны, спрятаны в будничной жизни». (ПСС, т. 37, с. 61.)

И тем большего одобрения заслуживает обращение писателя к изображению такого труда и образов таких людей, которые ежедневно и ежечасно, без громких слов вершат свой повседневный, так сказать, будничный подвиг. Именно из единичных проявлений «самого трудного героизма» и складывается подвиг общенародный.

Нельзя не сказать доброго слова и о работе переводчиков — Е. Гушина, А. Кузнецова, Л. Ханбекова, В. Синицына и А. Кийтайника. Они сумели с похвальной полнотой передать на русском языке своеобразный строй алтайской речи, ее краски, афористичную меткость, народный юмор. Можно, разумеется, найти в книге некоторые отдельные стилиевые и лексические огрехи, но в целом проза отличается смысловой точ-

ностью и образной выразительностью. Читая, забываешь, что перед тобой — перевод.

Сборник Вячеслава Сукачева «У порога», вышедший в Алтайском книжном издательстве в 1985 году в этой же серии, состоит из шести повестей.

Следовало ожидать, что в рассматриваемой книге собраны наиболее сильные произведения этого талантливого писателя. К сожалению, по прочтении всех включенных в нее повестей этого не скажешь. Если лучшие из них рождают взволнованное раздумье, то в других бросаются в глаза рыхлость композиции, налет мелодраматизма, слащавые, а подчас и надуманные, не бесспорные сентенции.

Впрочем, давайте по порядку.

Открывает книгу повесть «Любава». О чем оно, это небольшое произведение, близкое к развернутому рассказу? Можно ответить просто: о любви. Даже, пожалуй, о любви с первого взгляда, что уже само по себе не может не привлечь массового читателя. Однако главное в содержании повести открывается не сразу. Главное здесь — в духовной силе, постоянстве, чистоте чувств простого русского парня — таежного охотника-промысловика Дмитрия Сенотрусова.

Молод, совсем еще молод, почти мальчишкой кажется Пелагее Ильиничне Сенотрусовой ее младший сын — «последыш Митька». Старшие-то его братья и отец на фронте погибли, а Митька только в сорок седьмом начал ходить в школу. Потом, «отмучив семь классов», подался было в механизаторы, но «душа к железу не лежала». Чтобы матери подсобить, он два года в леспромхозе «сучкорубом отмантулил», а в шестнадцать пошел на промысел в тайгу да так и «впрягся».

Словом, рано приобщился парень к труду и нашел себе дело по душе. Как стал промышленяль, так в первый же год первенства среди охотников добился. И в зимовье у него порядок, какой не часто у хорошей хозяйки в доме встретишь, и похвальных грамот за добычу не счесть, еще медаль из Москвы получил.

В семнадцать совсем уже по-взрослому пошел Митька в клуб — гулять. И здесь его приняли и признали, разбитная и веселая сельская красавица Галка Метелкина сама к нему подошла. Но отнесся он к ней спокойно, даже равнодушно. «Не то, чтобы не мог, как другие, а просто боялся расплескать в себе что-то, не сберечь для единственной, которая была суждена ему...»

И вдруг...

Случайно оказавшись однажды в соседнем селе, Митька зашел в универмаг в отдел охотничьих товаров и вдруг «споткнулся взглядом на больших тоскующих глазах». И — все, словно околдовали его эти «болочные глаза». Навек околдовали. В тот же день увез он оказавшуюся сиротой продавщицу Любаву в свою деревню, а еще через три дня их расписали в сельском Совете.

Все? Да, во многих и многих повестях о любви подобный сюжет вот так и завершается. Но в данном случае перед нами — лишь предыстория. Оказалось, было уже у

Любавы нечто вроде незадавшейся любви. Потому-то и пошла она за Митьку без раздумий — от самой себя бежала. Да от себя-то не убежишь, тут же и поняла, что поступила опростетливо. Не люб ей Митька, нет, не люб...

А что же Митька?

Вот тут-то и начинается самое важное, что и пересказать затруднительно, ибо перед нами на редкость поэтичное, написанное тонкими, акварельными красками, лирическое произведение. И хотя в заглавие вынесено имя героини, содержание в большей мере посвящено раскрытию образа ее мужа — Дмитрия Сенотрусова, а попросту — Митьки. Он давно уже и на промысле передовиком стал, и женат не первый день, но и Пелагея Ильинична, и все окружающие, да, впрочем, и автор, как бы подчеркивая заурядность своего героя, все по-прежнему называют Митькой. Тут даже немалая доля снисходительности видна. Ну еще бы, вон он как с женьтибой учудил — вся деревня диву дается.

А Митька между тем полюбил. Да как! Человек искренний, душевный, он и полюбил глубоко и сильно — всей душой.

Трогательно, психологически достоверно, с особым писательским тактом и художественной убедительностью повествует Вячеслав Сукачев о мужественной доброте своего героя, о цельности его натуры и целомудренной чистоте. Противопоставляя этого простого, скромного парня якобы высокообразованному служащему леспромхоза Вячеславу Ивановичу, первой любви — впрочем, любви ли? — совсем еще юной и по-девичьи наивной Любавы, писатель обнаруживает в характере Митьки несравнимо больше благородства и человечности, нежели у его «интеллигентного» соперника. Тот вон какой эрудит — может в самом обыденном разговоре про неведомого Любаве протопла Аввакума ввернуть! А Митька что? Митька молчалив, замкнут, скован, неумел в проявлении своих чувств. Но сколько за его мужской сдержанностью чуткости, нежности и заботы!

Ни одним жестом, ни даже мимолетным взглядом ни разу не выразил Митька ни обиды, ни раздражения, когда только что вышедшая за него замуж Любава наглухо отгородилась холодным отчуждением. Совсем наоборот, каждым поступком, всем своим поведением он высказывал истинное уважение к тончайшим движениям души горячо им любимой, но не отвечающей ему взаимностью молодой жены. Мы не слышим от него ни словечка, ни полсловечка о любви, но нам-то понятно, что это и есть любовь. И как ни долго длилось его ожидание, в конце концов преданность и житейски мудрое терпение оказались не напрасными.

Обаятелен и образ матери Митьки — Пелагеи Ильиничны, отдавшей всю свою жизнь работе, воспитанию детей и сохранившей неизбывную верность памяти не вернувшегося с фронта мужа. Стоит ли говорить, с какой ревнивой болью могла бы она смотреть на невестку, не любящую ее единственного сына. А Пелагея Ильинична с удивительным терпением, по-матерински бережно опекает Любаву и наставляет ее,

неназойливо поучая рассказами о своей первой и незабвенной любви, о жизни с мужем до войны и в тяжелые послевоенные годы, когда она осталась вдовой.

Лишь единожды сорвался с ее губ упрек. Случилось это, когда все жены в деревне, по обычаю, вышли провожать мужей, уходящих на зимний промысел в тайгу, а Любава не вышла. Вот тут и не сдержала Пелагея Ильинична своего возмущения: «Чай, на промысел уходит, не по проспекту выкамариваться. Нехорошо, Любава, не порусски это».

И так внушительно, так весомо прозвучали эти фразы, что Любава опрометью бросилась вон на улицу — стыдом обожгло. И не с того ли дня началось ее «пробуждение». В теплой и чистой обстановке трудовой семьи выпрямился и окреп характер молодой женщины, жившей до того больше чувствами, нежели рассудком. Ошибка в первой, несостоявшейся любви повергла ее в тяжелую печаль и могла привести к утрате веры в людей, к ожесточению. Однако под влиянием умудренной жизнью хакервы и благодаря деликатной заботливости мужа Любава «воскресла». Ее наивные, бессознательные порывы, неудовлетворенность половинчатостью прежних чувств постепенно перерастают в глубокие нравственные искания на дороге к доброте и правде.

Таким образом, повесть «Любава» можно отнести к произведениям хотя и с открытым, но счастливым концом. А вот в повести «У светлой пристани» ситуация обратная. Здесь тоже речь идет о любви, но любви несчастной, приведшей к трагедийной развязке.

Работая в амбулатории глухой приамурской деревушки, молодая фельдшерница Светлана встречается на пристани с третьим помощником капитана речного теплохода, таким же, впрочем, молодым парнем, Володей. Ему чуть больше двадцати, но он уже смотрит на мир «только с высоты капитанского мостика». Естественно, Светлана влюбляется в него так, как умеют девушки ее возраста влюбляться в того, кто кажется им олицетворением мужественности, доброты и честности.

Это была не просто влюбленность, а самое пылкое влечение только что пробудившейся девичьей души, самая искренняя вера в то, что настоящая любовь не может не иметь взаимности. И пригрезилось Светлане, что ждет ее «светлая и чудесная жизнь». Увы, совсем не таким оказался избранник ее сердца, каким она представляла его в трогательно доверчивых девичьих мечтах. И тем болезненнее было для нее соприкосновение с подлой ложью, пошлостью и цинизмом.

Суть повести — в столкновении нравственной чистоты и нравственного предательства. А поскольку конфликт назревал незаметно, то тем более неожиданной и ошеломляющей явилась трагедийная развязка. Пронзительно лирическая история первого большого чувства героини и его крушения приобрела ту неотразимую силу воздействия на читателя, которая отличает подлинно художественные творения.

Говорят, нельзя требовать от писателя, чтобы все персонажи того или иного его

произведения были обрисованы одинаково рельефно. В повести «У светлой пристани», помимо главных героев, мы видим еще целый ряд действующих лиц, и все они выписаны с достаточной полнотой и убедительностью. Вот «тучный, с мясистыми плечами» заведующий ОРСом Иван Иванович Белобородов, мечущийся между первой и второй женами. Вот на редкость добрый и, к сожалению, из-за своей мягкости так и остающийся в стороне от Светланы студент Сергей, чья искренность впервые заставила ее усомниться в правдивости человека, с которым она готовилась навсегда связать свою жизнь. Впечатляюще показан и бывший фронтовик — седой одноногий шкипер Савелий. Ему как никому другому понятно трепетное состояние влюбленной девушки, и он всячески пытается уберечь ее от опрометчивых решений.

Тут нельзя не вспомнить известные слова Горького: «Самое прекрасное, чего достиг человек — это умение любить женщину». Именно умением любить и проверяет Вячеслав Сукачев создаваемые им характеры. Зримо, сочными красками очерчивая портреты своих героев и их внутренний мир, он исходит из того, что ни в чем другом так ярко и всеобъемлюще не раскрывается человеческая личность, все драгоценное подспудное содержание ее, как в чувстве любви. При этом проба ценности совершается чаще всего в общении двух, когда малейшая фальшь тотчас фиксируется чутким сейсмографом любящей души.

О любви, надо заметить, написано так много, что, кажется, вряд ли уже чем-то удивишь нашего современного читателя. Тем не менее, прочтя повести «Любава» и «У светлой пристани», их нельзя не запомнить. Чем же они выделяются, чем впечатляют? Прежде всего, пожалуй, исследованием первых, самых трепетных душевных движений, которые можно определить как истоки, как зарождение любви и ее начальные соприкосновения со сложностями бытия. Проявляются эти благородные свойства, думается, у всех одинаково — кто же не мечтает о большой, настоящей любви! — а вот какой она будет, наша любовь, от чего зависит, над этим и заставляет задуматься писатель.

Привлекает еще и то, что героев рассматриваемых произведений воспринимаешь так, будто ты их уже встречал в жизни. Особенно удаются автору женские образы. Женщина в его изображении — это, за редким исключением, воплощение красоты, щедрости на добро, верности, нравственного здоровья и самоотверженности в любви. Таковы много пожившие и пережившие Пелагея Ильинична и Таисья, таковы и совсем еще юные, только начинающие любить Любава и Светлана. Для них истинная радость, и счастье, и смысл бытия — прежде всего в любви. Вместе с тем они всем своим женским чутьем глубоко сознают и то, что любовь — это не просто наслаждение или удовольствие, а в первую голову величайшая ответственность человека перед человеком.

«Любаву» и «У светлой пристани» как бы продолжают повести «На маленьком забытом полуострове» и «Повесть о любви». Они посвящены той же тематике и, судя по

обозначенным в книгах датам их создания, расположены в хронологическом порядке. В таком случае как само собой разумеющееся следует предположить, что каждое новое произведение писателя развивает и углубляет мысль, одушевляющую его в произведениях более ранних. В данном случае, к сожалению, дело обстоит, на мой взгляд, едва ли не наоборот.

Построена повесть «На маленьком забытом полустанке» не в пример предыдущим несравнимо сложнее. Неский молодой человек, «корреспондент газеты», находясь в командировке на лесопункте «Медвежий», совершенно случайно из разговора двух его соседей по гостиничной комнате узнает о довольно-таки необычном случае. Оказывается, один из этих людей, тоже находящийся здесь в командировке, главный инженер леспромхоза Сергей Карелин завел нечто вроде пошлого полулюбовного флирта. Да с кем! Предметом его увлечения стала совсем еще юная глухонемая девушка Миля, работающая в гостинице уборщицей. Ей не исполнилось еще и восемнадцати, и она, приняв ухаживания всерьез, влюбилась в Сергея со всей пылкостью первого чувства. Второй командированный, человек в солидном возрасте, бывший фронтовик, а ныне «представитель края» Аркадий Васильевич в серьезность Карелина не поверил и, по словам последнего, «начал качать права». Дескать, вы не корчите из себя Печорина и так далее. Тогда вдруг Сергей заявил ему, что Милю он любит, и вообще, мол, это его личное дело.

Жизнь есть жизнь, случиться может, так сказать, всякое, и этот редкий, прямо-таки на грани дозволенного, командировочный, если можно так выразиться, роман не мог не привлечь внимания корреспондента. Он пристально следит за развитием событий, всматривается в характеры людей, оказавшихся в центре необычной ситуации. Чтобы прояснить их сущность, автор передает повествование каждому из персонажей в отдельности. В первой главе перед нами заметки газетчика, во второй от первого лица рассказывает о себе Аркадий Васильевич, в третьей — Сергей, в четвертой, представляющей собой дневник Миля, — сама Миля. Время от времени дает пояснения и завершает повесть опять же корреспондент.

Композиция, что и говорить, сложная. А чем же все завершается? Да, в общем, тем, что и ожидал читатель: Миля уходит от Сергея. То есть перед нами, как и в повести «У светлой пристани», снова крушение первого чувства любви. Правда, обрамляется вся эта сюжетная коллизия намеками на то, что Миля решила испробовать Сергея разлукой, и концовка остается как бы загадочной, будто бы они еще могут встретиться. Однако такое предположение остается лишь некой слабой душещипательной надеждой, а логика событий и логика характеров говорят как раз об обратном.

Хотелось, очень хотелось бы поверить в серьезность намерений Сергея по отношению к Миле, однако его же собственные признания заставляют сильно в этом сомневаться. С ним, говорит он Аркадию Васильевичу, такое уже бывало, и он не зна-

ет сам, надолго ли полюбил, ибо обычно ему не по нутру любое постоянство. «И тут уж ничего не поделаешь, завтра я могу полюбить другую. Так бывает и не только со мной, вы знаете».

Вот как! Не просто смущенное самооправдание, а с полным обоснованием всеобщего непостоянства, с утверждением некоей закономерности. «Все такие». И дальше — больше. Трезво сознавая изъяны своего характера, Сергей, ничтоже сумняшеся, подводит под них совсем уже глобальную подкладку: «Мне почему-то кажется, что мое поколение самую малость ущербно».

В этом «самую малость» пробивается еще кое-какая стеснительность, но с каждым словом смелости прибавляется, и наш герой прямо-таки сражает нас своим «глубокомыслием». Судите сами: «Слопав положенное количество мерзлой картошки и жмыха, переболел рахитом и корью, мы с необычайной жадностью набросились на сладости. И нам их давали. Давали потому, что мы-де пострадали с детства и вроде бы уже одним этим заслужили любое количество сладостей. И мы их уничтожали в огромном количестве, вначале откалывая от громадных кусков сахара молотком, потом от маленьких — щипчиками, а потом уже сахар для нас пилили и мололи. Нас начало тошнить. И теперь мы смотрим равнодушно не только на сахар, но и на кое-что похлеще».

Стоп, стоп, — скажет внимательный читатель, — что-то очень уж знакомое. Что? Да вот же: «Довольно людей кормили сладостями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины».

Кто же не знает этих строк из «Героя нашего времени!» Правда, там мысль выражена не столь многословно, как у новоявленного Печорина, так ведь он же, что называется, вон как далеко ушел от своего предшественника. Тому приглянулась и вскорости наскучила «дикарка» Бэла, а этот и вообще не выносит никакого постоянства в любви.

А что же автор? Даже передоверяя повествование корреспонденту или другим своим героям, писатель никоим образом не должен был забывать о своей авторской позиции. Но вот этого-то, к сожалению, мы и не видим. Не потому ли, помимо перефразированных реминисценций, не избежал он и некоторого самоповторения.

Если повнимательнее присмотреться, то ведь и образы здесь почти те же самые, что уже знакомы нам по повести «У светлой пристани». Во многом, например, схожи Светлана и Миля с их трепетным ожиданием счастья, внутренней настроженностью и незащищенностью перед житейскими невзгодами. Близки по своей сути третий помощник капитана Володя и главный инженер леспромхоза Сергей. Там — «золотые ранты на рукавах кителя и начищенные пуговицы», здесь — «полусубок нараспашку и шапка набекрень». А за яркой внешностью и там и здесь — мелкое себялюбие и духовная бедность. Да и бывшие фронтовики — шкипер Савелий и представитель края Аркадий Васильевич — едва ли не копии друг друга. К тому же при одинаковой расстановке типажей у них и роль одна: тот

и другой пытаются как-то уберечь неискушенных в жизни героинь от ошибок и опрометчивых поступков.

В «Повести о любви» такая роль отведена если и не фронтовику, то тоже человеку много пережившему — тетке Аксины. Главные герои здесь опять молодые люди — простой деревенский парнишка Володя Сухов и приехавшая в амурское село на стройку литовская девушка Лина. Догадываясь о их взаимоотношениях, тетка Аксины первоначально просит, а потом уже чуть ли не требует, чтобы они заимели ребенка и в честь ее погибшего под Берлином сына назвали Борисом. Они бы, по всей видимости, и выполнили эту просьбу, да случилось так, что любовь как нежданно пришла, так неожиданно, сама собой и ушла.

Словом, опять тот же мотив — неудачная, несчастная любовь. Жанр повести уже иной — рассказ в рассказе, повествование, вспоминая о прошлом, ведет геолог Володя Сухов. Он по своему характеру вроде и не относится к сердцеедам типа «третьего помощника капитана», но «или по глупости, или по молодости» не сберег своего светлого чувства к Лине. А ведь оба любили. Ах, как любили!

«Аш тавя лабай мялю... Я тебя очень люблю», — говорили, бывало, они друг другу и по-литовски, и по-русски. И рассказчик, вспоминая о тех минутах, тоже поровит сказать покрасивее: «Моя голова лежала у нее на коленях, и она сама склонилась ко мне и отдала свои губы, и когда мы целовались, то пахло молодой травой». Подобного рода всплески любовных объяснений и описания экзальтированных эмоций буквально топят страницы повести.

Справедливо замечено, что слова «я тебя люблю» звучат правдивее и сильнее, чем слова «я тебя очень люблю». Однако рассказчик, от лица которого ведется повествование, совершенно не замечает своего влечения.

«Об этом можно говорить бесконечно. Впрочем, человечество так и поступает: от Одиссеи и трагедий Шекспира до наших дней. И бог знает, сколько еще после наших дней — трудно вообразить». Такими словами, вложенными в уста рассказчика, начинается повесть. В них, стало быть, ключ к содержанию: еще одна история о любви, которая, как и все иные, имеет право на свое существование в литературном оформлении безо всяких на то оговорок. Увы, так, да не так. Тема любви и быта в подлинной, серьезной прозе всегда социально значима. Она важна не сама по себе, а главным образом потому, что раскрывает какие-то глубинные процессы в современной социальной нравственности. Без этого произведения такого рода лишены общественной значимости.

Многих читателей, вероятно, привлечет повесть Вячеслава Сукачева «У порога», которой дан многозначительный подзаголовок — «Погоня за будущим». Главный герой этого произведения — художник Сергей Баринов. В молодости покинув родную деревню, где он только не побывал и кем только не работал: каменщиком и грузчиком, матросом и шофером, даже сезонным

рабочим у геологов и докером в порту. Неосознанная неудовлетворенность окружающей действительностью, обыденность, однообразие угнетали, выводили из себя, заставляли бежать из села в город, с севера на юг и обратно. Он мечтал о великих полотах, готовил себя «к чему-то особенному, что должно было с ним случиться в будущем».

Спустя много лет, возвратился Сергей под родной кров. Незаметно подтачивающая силы неизлечимая болезнь, встречи с односельчанами, друзьями детства и проснувшиеся в связи с этим воспоминания заставили «блудного сына» оглянуться: что же он сделал за прожитые годы, чего достиг?

Горьким оказался итог. Погоня за будущим была на поверку «погоней за подвигами, картинами, женщинами, а он ни подвига никакого не совершил, ни картины выдающейся не написал да и семьей не обзавелся, хотя молодость уже далеко позади. Случалось ему писать разные пейзажи, а вот родные места казались не достойными внимания. А почему? Да потому, что он «утратил настрой того единственного места на земле, которое походя, не задумываясь, называл родиной».

Есть и еще одна причина профессиональной да и моральной деградации этого в общем-то небесталанного человека. Она, эта причина, тесно связана с основной и является как бы ее следствием. «Сколько времени, когда и писалось, и писать хотелось, было угроблено на вечеринки», — вспоминает Сергей и сам себе не кривя душой сознается: «Срок, отпущенный мне на жизнь и работу, я прокутил и теперь его не наверстаю».

Сейчас, когда в нашей стране повсеместно развернулась поистине всенародная борьба за здоровый быт, за трезвость, актуальность произведения, посвященного этой проблеме, несомненна. Однако повесть «У порога» до того перенасыщена эпизодами пьянок, что буквально от каждой страницы несет сивушным духом.

В промежутках между своими любовными похождениями и возлияниями герой глубококомысленно вопрошает себя: «Когда же все началось? Когда я начал жить завтрашним днем?» Что же, может быть, он горько проиизизирует над собой? Увы, ничуть, все на полном серьезе, хотя само понятие «жить завтрашним днем» поставлено всей его жизнью буквально с ног на голову. Старательно и подробно, во всех мелочах воспроизводя сумбурную жизнь своего героя, автор, впрочем, как бы сочувствует ему. Во всяком случае художественного развенчивания мы не видим. Вопреки своим потугам «догнать будущее», Сергей Баринов лишен одухотворенности, подлинной культуры и высоты человеческих чувств. Тем не менее писатель вновь и вновь пытается сделать его загадочным, подающим добрые надежды.

При многозначительных, с достаточно ясной символикой заголовке, подзаголовке и эпиграфе столь же многозначительна в произведении и концовка. Написав картину, на которой «время замерло», художник устало думает: «Возможно, это и есть вечность». И тут же опять пускается чуть ли

не в философские размышления о вечности. Завершается все это внезапной и тоже многозначительной смертью художника — его уходом куда-то по «громадному коридору», напоминающему туннель, о котором в не столь отдаленном прошлом сенсационно писала зарубежная пресса, якобы пользовавшаяся рассказами людей, побывавших на грани жизни и смерти.

Что здесь, если не попытка затушевать призрачность, иллюзорность некоей значимости героя. Отдельные страницы повести не лишены некоторой художественной ценности, но в целом произведение получилось ленивым, расплывчатым, даже пугающим читателя. Актуальная проблема «художник и народ», «художник и время» оказалась за рамками повествования, ибо художник показан и в отрыве от народа, и вне времени.

Стремление Вячеслава Сукачева освоить новые пласты действительности и поиск положительного героя более отчетливо видны в заключающей книгу повести «Военная». Однако при многих несомненных достоинствах и это произведение не лишено существенных авторских просчетов. И прежде всего заметно это в обрисовке образа главной героини — Серафимы Лукьяновой.

Все четыре года войны Серафима была на передовой, после победы вернулась в родное село со многими наградами. За это все и зовут ее — Военная (отсюда и название повести). Ретроспективно автор показывает всю нелегкую судьбу этой женщины, с десятилетнего возраста оставшейся сиротой. Но если говорить об испытаниях, выпавших на ее долю, то самое жестокое, и к тому же самое несправедливое, обрушилось на нее уже после войны. За то, что она добровольно ушла в сорок первом на фронт, ее муж сошелся с другой женщиной, а затем вместе с новой женой сделал все возможное, чтобы лишить Серафиму дочери Оли.

Попыталась было Серафима бороться за дочь, но вернуть ее не смогла и вынуждена была смириться. Что ж, не исключено, что мог быть и такой конкретный случай, однако, думается, логика характера «Военной» несовместима с ее пассивным отстранением от дальнейших попыток возврата дочери. Это противоречит и ее материнским чувствам, и тем далеко не заурядным чертам упорной, волевой и мужественной женщины, которые вели ее на фронт и помогли выстоять там, где приходилось смотреть в глаза самой смерти.

Не вяжется с логикой событий и равнодушные выросшей дочери. Живя в одном селе с матерью, она уже из простого любопытства должна была поинтересоваться подробностями случившегося, пристальнее всмотреться в жизнь, в отца, в мачеху. А Оля, как ни странно, ни разу даже не задумалась, почему ее отец не воевал, когда другие мужчины воевали, не щадили себя во имя победы, их подвигами, их наградами теперь гордятся дети — ее сверстники.

Вызывают возражение и некоторые авторские умозаключения. Вот, в частности, как бы мимоходом оброненное: «Жить с нелюбимым человеком — что может быть

хуже такого наказания? Но русская женщина издревле славится добротой, и доброта эта, может статься, ничего, кроме бед, не дает ей, но отними доброту от нее — и лишится земля, может быть, самого безалаберного и самого прекрасного детища своего».

Право, насколько красиво, настолько и непродуманно. Назвать русскую женщину безалаберным детищем природы — значит попросту не осмыслить значения употребляемых слов да, пожалуй, и обидеть наших женщин.

Или вот еще пример: «Среди боя, в отступлении и смерти, утопая в земле под гусеницами танков и растворяясь в воздухе от прямого попадания, русский солдат обрел вдруг то великое дыхание, которое довело его до Берлина».

Такие стилистические и смысловые огрехи в книге не единичны.

Что ж, любое творческое дело не может состоять из одних только удач. Но в данном случае речь идет не только о просчетах писателя, а еще и об отборе произведений для книг с ответственной маркой «Современная сибирская повесть».

Кроме вышерассмотренных, в той же серии Алтайское книжное издательство выпустило в 1984 году книгу Ивана Кудинова «Голоса». Широкому читателю известны его романы «Окраина» и «Стихия», изданные в Москве, а также многочисленные повести, рассказы и очерки. И о чем бы ни писал прозаик, в центре его внимания прежде всего родной сибирский край и люди, которых принято называть коренными сибиряками.

Один из этих людей — старый колхозник Егор Егорович Басаргин. Его, так сказать, в полный рост писатель рисует в повести «Хлебозары», открывающей книгу.

Сибирь, как известно, велика, пространства ее настолько обширны, что в разных местах и природа неодинакова, и люди, конечно же, везде наособицу, на свое лицо. Нередко и слово русское носит здесь неповторимость местного колорита. Вот ведь уже в самом названии повести слышится нечто сугубо сибирское — «Хлебозары». Что-то совсем близкое, понятное, а между тем в словаре В. Даля — хлебозоры. А еще — хлебозорки, то есть зарницы, озаряющие хлеба во время цветения и налива колосьев. И если учесть, что повествование идет о хлеботоргах, то в названии повести угадывается символический смысл. Не сам по себе растет, наливаясь и зреет хлеб — выращивают его яркие, самобытные люди, которых мы с благодарностью величаем вечными тружениками полей, кормильцами народа.

Композиция повести довольно-таки сложна, даже прихотлива. Хотя содержание замкнуто во времени естественной жизни главного героя, последовательно пересказать события затруднительно. И все же при кажущейся случайности изображаемых ретроспективно эпизодов сюжет обладает внутренней стройностью, так как динамика основывается на показе целостной единичной судьбы.

«Летом, в пору жарких июльских хле-

бозаров, старик Басаргин женился». Такой вроде бы чуть ироничной и вместе с тем интригующей фразой начинается повествование. Еще бы! «Жениху без малого семьдесят, невесте далеко за шестьдесят».

Ничего экстравагантного, вопреки такому зашну, не происходит. Семьдесят — это семьдесят, позади — большая жизнь. И не какая-то там ветреная, беспутная, чтобы, как говорится, седина в бороду, а бес в ребро. Нет, совсем наоборот.

Несмотря на то, что вся жизнь Басаргина прошла в отдаленном, как принято говорить, глубинном сибирском селе Березовке, дом его насквозь продувало ветрами времени. Когда-то в бедной крестьянской избе разговоры вертелись больше всего о хлебе, которого не хватало от нови до нови. Свои перипетии были и в период коллективизации, когда Егора Басаргина «угостили» из кулацкого обреза. А потом — война. Ушли на фронт да так и не вернулись, погибли двое старших сыновей. После войны уже уехал в город учиться младший сын Алексей, вышла замуж дочь Вера, а спустя некоторое время Егор Егорович овдовел. Вот и остался в своем доме один. И горько, и обидно, да что подделаешь!..

На частном примере единичной судьбы писатель затрагивает одну из наиболее острых проблем сегодняшнего села — проблему запустения крестьянского дома. Не сын к отцу в родную Березовку, а Егор Басаргин к сыну Алексею уезжает в город, чтобы не дожидать последние годы в одиночестве. Что ни говори, там и квартира с центральным отоплением, и водопровод, и газ. Казалось бы, чего ему, старику, еще надо! Однако...

Судьба Егора Басаргина — это судьба множества таких же, как он, тружеников сибирских полей. Ничем он не выделяется среди своих односельчан, разве что зародившейся у него еще в детстве мечтой вырастить такую пшеницу, какую видел у местного богатея купца Копытина. И ведь вырастил! На участке, который обрабатывало его звено, было собрано по триста шестьдесят пудов с гектара. Такого хлеба до той поры не знала еще здешняя земля. А потом и пошло — басаргинские звенья, басаргинское движение...

Если вникнуть, то и мечта Басаргина была и есть типично крестьянской. Кто же из хлеборобов не мечтал или не мечтает о больших урожаях! А большого урожая в одиночку не вырастишь и не соберешь. Тут коллективный труд нужен, совместная работа многих людей. В такой совместной работе обрел Егор Егорович самые тесные связи с односельчанами. Их не разорвешь, не забудешь, даже уехав на край света.

Короче говоря, уехал Егор Егорович к сыну и затосковал. Куда ни глянет, все ему в городе не по нутру. Как две капли воды, похожи друг на друга дома, в автобусе не продохнуть от тесноты и давки, березки в скверах сиротливые, тополя покрепче, но... подрезанные, подстриженные, «ни одной лишней веточки». Чтобы не видеть такого, Егор Егорович даже в сквер перестал ходить.

Мотив знакомый. В так называемой деревенской прозе немало произведений, где

село с его патриархальными обычаями рисуется лишь идиллическими картинками. А если не во всех, то чуть ли не во всех неурядицах нынешней сельской жизни повинен, дескать, город. Как же — из деревни в город уезжают лучшие, наиболее способные, предприимчивые люди. Туда же, едва закончив десятилетку, уходит молодежь. А там, глядишь, вчерашние скромные парни и девушки становятся пижонами, разбитаемыми шалопаями и т. д. и т. п.

Примерно так смотрел поначалу на горожан и главный герой повести «Хлебозары». Внимательный читатель уже готов был иронически усмехнуться: ну вот, еще один вариант «антигородских» сетований! Однако Иван Кудипов, создавая свое произведение, шел не от книжных представлений, а от самой жизни. Коренной хлебопашец, человек труда, его герой Егор Басаргин и в городе среди самой пестрой, на первый взгляд, праздной толпы сумел разглядеть людей, подобных себе, таких же, как сам, тружеников и создателей.

Вот, в частности, старый кадровый рабочий Федор Кудрявцев. Более тридцати лет отдав машиностроительному заводу, он вышел на пенсию, однако от забот трудового коллектива не отстранился. Наоборот, имея постоянный пропуск, он неизменно спешит туда, где гудит конвейер, благо «руки еще ничего, исправно действуют...».

Ближе познакомясь с этим человеком, Басаргин уже другими глазами смотрел и на город, и на здешних людей. И пришло осознание того, что место его там — в Березовке. Там прошла вся его жизнь, там нужен его крестьянский опыт. И Егор Егорович возвращается в родное село. А чтобы не жить в одиночестве, сходится с такой же одинокой, как сам, соседкой Катериной. Заколотив свою избу, она перебирается к Егору Егоровичу.

Проблема заочлаживания крестьянских изб не так-то проста, как это может показаться на первый взгляд. Если деревня опустеет, кто будет выполнять Продовольственную программу? Так за частным встает общезначимое.

Еще совсем недавно неподалеку от Березовки была деревня Жилино. Поразъехались оттуда люди, поразбредлись — ничего там теперь не осталось, только «черные провалы на месте жилищ» да густой «задуревший бурьян».

Повесть «Хлебозары» писалась, думается, не без затаенной мысли разбудить гражданское самосознание тех, кто подчас бездумно, действительно лишь следуя моде, покидает родное гнездо, уходит из деревень.

И отраднo, что мы видим в произведении не только постановку многих проблем нынешнего села, но и любовно выписанные образы многих хлеборобов, которые продолжают обихаживать землю. Такими, в частности, являются председатель колхоза Николай Павлович Стародубцев, агроном Ольга Петровна Демина, сельский механизатор Василий Красилов. Эти люди сознательно выбрали свою судьбу, их подлинно народные характеры убеждают нас в том, что и сегодня крестьянин носит в сердце любовь к нелегкому, но благородному

труду земледельца. И такая нравственная сила исходит от характеров этих людей, что уже само их существование благотворно действует на односельчан.

Не все удалось писателю в равной мере. Скупое, схематично очерчены фигуры секретаря райкома Земцова, чиновного перегибщика Лошкарева, первого председателя березовского колхоза двадцатипятилетия Жестева. При предельно сжатом изображении событий, происходивших в годы коллективизации, многое не прояснено до конца, спрятано в подтекст. И все же в целом повесть «Хлебозары» производит впечатлительные крупномасштабные, едва ли не романа — так она насыщена событиями, судьбами людей и социально-нравственными проблемами. И обрывается повествование как бы на полуслове, что заставляет читателя задуматься о дальнейшем движении жизни, о тенденциях новой действительности.

Жизненный путь героев Ивана Кудинова, как это бывает в творчестве каждого писателя, часто на каких-то отрезках совпадает с жизненным путем самого автора. В повести «Хлебозары» автобиографичность угадывается в образе Алексея — сына Егора Басаргина. Еще более отчетливо проступает это в судьбе Феди Андрейчикова — главного героя повести «Федькин воз» и в примыкающих к ней рассказах «Белая картошка», «Бухон», «Туски» и др.

Война наложила суровый отпечаток на детство поколения, пришедшего в жизнь в конце двадцатых — начале тридцатых годов. На плечи подростков двенадцати-четырнадцати лет легли тяжелые, недетские заботы. Иван Кудинов сам принадлежит к этому поколению, что и отразилось во многих его произведениях.

Действие повести «Федькин воз» разворачивается в глухой, отдаленной заимке на полевом стане, где тринадцатилетний Федька зимует с матерью и двумя совсем еще малолетними сестренками. Одиноко живет здесь их семья. Отец и старший брат Федьки где-то на войне. Мать ухаживает за овцами, Федька ей помогает, других помощников нет. От их старой, осевшей на один бок избы-полуразвалюхи полкилометра до тракта и пятнадцать верст до ближайшей деревни. Вокруг лишь заполненная ветром и стужей сибирская ширь.

Символично и название повести, за которым стоит развернутый эпизод поездки Федьки на запряженной в сани кобыле Рыжухе за сеном для овец. Даже для взрослого мужика далеко не простое это дело, а тут мальчонке только-только четырнадцать стукнуло. Вроде бы и аккуратно, по всем правилам сладил он воз, но стоило тронуться с места, и все пошло насмарку: сено расплозлось, разъехалось, рухнуло на снег. Переложил, то есть перегрузил, наваливая тяжелые охапки вилами, поехал, а через полсотни метров — та же беда.

Очередной раз сено свалилось с саны на косогоре. Федька, подбирая его с земли, семь потов пролил, упарился, несмотря на жестокий мороз. Да что же это за напасть такая? Уж не вредит ли кто украдкой? Вон, говорят, Гитлерюга разослал невидимок, бродят они, как тени, творят свое вражье

черное дело. И взяла Федьку злость: «А ну давай, давай, кто кого! Посмотрим, посмотрим... Гад фашистский!» И вновь завершил погрузку, и поехал, и донес сено до заимки, хотя казалось, что не Рыжуха, а сам он тащил этот злополучный воз «через все поле». Иначе говоря, не просто через поле — через всю свою мальчишескую жизнь. И как не спасовал, не отступил там, в заснеженной степи, так не отступал перед любыми трудностями и в дальнейшем. И когда надо, четырнадцатилетний мальчишка становится за плуг. Пахарем становится!

И нельзя без волнения читать, как обучает их нелегкому труду пахаря одноногий инвалид войны Сват, он же Дронов: «Лемех с хрустом вошел в землю, вспоров ее, и первый изрядный пласт, маслянисто-черный, с тонкими нитями старых корневищ, отвалился в сторону. Сват прыгал за плугом на одной ноге, проскакал несколько шагов и остановился. Федька шел следом по борозде, держа в руках Сватовы костыли.

— Держи! — сказал Сват.

И они поменялись — Федька взялся за рычаги, а Сват принял из Федькиных рук костыли и сразу, будто постарев на десять лет, сгорбившись, отошел в сторону».

Свежо и широко, во всей его непосредственности запечатлен в повести ни с чем не сравнимый по яркости впечатлений чуть наивный ребячий мир. Как ни тяжело Федьке, а он склонен и помечтать, и пофантазировать. Но такое уж было время, что даже детские мечты и фантазии вертелись вокруг общих забот всех наших людей.

Когда-то, например, Федька верил, что калачи растут на березах. Теперь его не проведешь. Однако хотя он и знает уже, что таких чудес на свете не бывает, «сама мысль эта развеселила его, и он, радуясь этой мысли, тихо засмеялся, веря и не веря в нее, не веря, конечно, но ему очень хотелось, очень ему хотелось, чтобы так было — калачи на березах!..»

А вот что приходит ему в голову, когда он рубит топором прутья тальника. «Рубит Федька, а мысли его далеко витают — и не тальник он рубит, а на вороном коне скачет, ветер в лицо. Взмахнет Федька саблей — тюк! — и скатилась еще одна фашистская голова к чертовой матери... Тюк, тюк! — рубит Федька, и нет никакой пощады врагам».

Как бы на глазах у читателя из вполне обыкновенного сельского мальчишки, поребачьи относящегося ко всему окружающему, вырастает парень, научившийся глубоко чувствовать, сопереживать другим людям и серьезно думать. Внешне он остается все тем же угловатым подростком, а раздумья его поднимаются до глубоких, едва ли не философских заключений: «Зачем люди воюют?» — спрашивает Федька у матери. А когда мать замечает, что, мол, грамотные же люди начинают войны, Федька с присущей ему прямоотой говорит: «Дураки затевают войны, хоть и грамотные».

Образ душевно цельной, до самоотверженности стойкой в любых невзгодах деревенской русской женщины получил у Ивана Кудинова убедительное поэтическое воплощение в чертах характера матери Федьки—



Ивановны, как уважительно называют ее в селе. Это тот же народный тип русской крестьянки, что «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». С большой нежностью, с любовью выписал ее автор, прославляя подвиг материнской любви и трудолюбия в суровую годину всенародного бедствия.

Женская доля, женское сердце, подвиг любви и труда русской деревенской женщины в военные и первые послевоенные годы — одна из основных тем в повестях «Федькин воз», «Белая картошка» и «Покушение». Здесь перед читателями один за другим предстают и образ матери Федьки, и трактористки Марии, ставшей вдовой в пятнадцать лет и ее напарницы Маруси, в которой «смеха и слез — поровну», и горемычной тетки Татьяны, чей муж тоже погиб в самом начале войны, а она на бесконечной мужской работе «совсем обмужичилась», и такой же вечной труженицы Полюшки Соломниной.

Эти небольшие повести, разумеется, неправомерно сопоставлять с другими, более масштабными произведениями, посвященными той же тематике, и все же, читая их, нельзя не вспомнить, к примеру, роман Федора Абрамова «Братья и сестры». Характеры Михаила Пряслина, его сестры Лизки, их матери Анны и других колхозных женщин в чем-то главным образом очень близки характерам персонажей прозы Ивана Кудинова.

Федор Абрамов в одном из своих выступлений проникновенно и впечатляюще сказал, что задолго до того, как был открыт второй фронт нашими союзниками по войне, первыми открыли его советские женщины. Открыли и стойко держали этот фронт наравне с женщинами их несовершеннотетин дочерей и сыновья. В этой связи, говоря военным языком, сибирского подрастающего Федьку Андрейчикова можно с полным основанием назвать однопольчанином, боевым побратимом северянина Михаила Пряслина.

Создав живое, убедительное, психологически точное повествование о сибирских подростках, Иван Кудинов вместе с тем дал почувствовать в нем дыхание времени, с которым слилось его личное, укороченное войной детство. Этим писатель отдал моральный долг всем сверстникам своим, участвовавшим в великом народном подвиге. Прочтя рассматриваемые повести, мы расстаемся с взрослеющими героями, твердо веря в то, что они через всю жизнь пронесут чистоту чувств, силу характера, благородство и красоту души.

Да и расстаемся ли?!

Закрывает книгу Ивана Кудинова раздел «Голоса», по которому ей и дано общее название. Это, на первый взгляд, многожанровый цикл разрозненных миниатюр, эскизных набросков, зарисовок с натуры, документальных новелл и рассказов. Лишь по прочтении становится ясным, что перед нами нечто вроде лирической повести-хроники. На ее страницах мы встречаемся и с автобиографическим образом повествователя, и с некоторыми другими уже известными нам героями. В частности, с тем же Федькой, впрочем, теперь уже Федором Андрейчиковым, военным моряком. И хотя

сквозных действующих лиц здесь нет, единство произведения основывается на четко определенном авторском взгляде на мир.

Для автобиографического героя-рассказчика характерно прежде всего раздумье над собственной судьбой и внутренняя сосредоточенность на самых разнообразных проблемах человеческой жизни. Начиная повествование, автор доверительно сообщает, что в его душе постоянно живут голоса полубытых и дорогих ему людей. «Прислушайтесь и вы к этим голосам, — предлагает он читателям. — Возможно, они напомнят вам о чем-то своем, неповторимом».

Первый такой голос — это голос матери. О нем как поэтине о самом дорогом и самом неповторимом повествуется в лирической миниатюре, напоминающей стихотворение в прозе. Концовка здесь вряд ли оставит равнодушным самое черствое сердце: «А мне и до сих пор кажется, что лучше маминго голоса не было и нет на всем белом свете...»

И в дальнейшем автор то и дело обращается к воспоминаниям о матери. Спокойной, уверенной и мудрой добротой веет от ее образа, навсегда оставшегося в любом человеке неутрачиваемым духовным богатством. Голос матери, ее слово — всегда тот решающий нравственный камертон, который не дает ошибиться при оценке других «голосов».

За повседневным, обыденным, порой за случайностью внешних проявлений повествователь постоянно стремится разглядеть истинный смысл событий, поступков людей и их характеров. При этом он нигде не разрешает себе встать в позу всезнающего судьи, не сбивается на дидактику. Совсем наоборот, с грустной иронией много повидавшего человека он в этюде «Усталость» говорит: «В детстве человек открывает для себя мир... чтобы в конце жизни понять, что мир так и остался для него за семью печатями». Потому и приглашает подумать, поразмышлять вместе с ним — рассказчиком.

Избранный жанр повести-хроники при всей его фрагментарности достаточно емко, чтобы вобрать и раздумья, и частности быта, и рассказы о судьбах отдельных людей, и заметки о переменах, происшедших в сибирской жизни за последние десятилетия. Причем не только о положительных. Этюд «Снег с молоком» в ряду других представляется совсем уж сугубо личным, дорогим разве что для самого автора воспоминанием о том, как его дед, бывало, зимним вечером приносил с улицы полный ковш белого, чистого снега и опрокидывал в миску с молоком: «Хлебайте!» Тут невольно подумаешь, что факт мелок, малозначителен. А писатель еще и смакует. Дескать, какое же это чудо — снег с молоком, ешь и не наешься, вкуснее любого мороженого. Полно, так ли, сомневаешься, и вдруг — концовка: «Хотел было посоветовать вам: попробуйте, мол, сами убедитесь. Да спохватился: а где ж его взять нынче, такого снега, какого впрок было в нашем далеком и миллом детстве. Негде взять...»

М-да, покачаешь головой. Виданное ли это дело — зимняя Сибирь без чистого

снега! И встает за частным фактом большая экологическая проблема.

В рассказах, вошедших в раздел «Голоса», писатель создает целую галерею человеческих типов. При этом у него нет безликих персонажей, он как бы выхватывает своих героев из толпы и дает их «крупным планом», в самых существенных духовных проявлениях, ибо для него каждый человек достоин внимания и особого разговора. Наглядно, с художественной убедительностью подтверждается это, к примеру, в рассказе «Икона».

Когда-то, перед войной еще, приехал в село художник. Бойкая деревенская красавица Маруся Легостаева не преминула завести с ним кокетливую беседу. А Мишка Дронов, ее ухажер, тут как тут! Возревал.

Ситуация возникла конфликтная. А кулачищи у Мишки Дронова — во! Никто не решился бы связываться с ним. Его с некоторых пор стал побаиваться даже колхозный бугай.

И неспроста. Сорвался однажды этот огромный, злой до бешенства бык с привязи, пошел по улице — вся улица враз опустела. Собаки — и те лишь трусливо тявкали из подворотен. Кому же хочется попадаться на крутые рога! И вдруг навстречу бугаю — Мишка. Не видит, что ли? Нет, видит, но не сворачивает! «Экий дурак, — сказал кто-то, — сам на рога лезет!»

И они сошлись — бугай и Мишка. Все и дыхание затаили: амба, конец, крышка задавке Дронову! А что произошло в следующую миг, никто толком и понять не успел: метнувшийся к Мишке бык оказался привязанным к столбу. «На это, — замечает автор, — ушла минута, но такая минута равна целой жизни».

Ну а как же объяснился этот отчаюга с художником? Да вроде никак — побеседовали и разошлись. Уж таков был художник по натуре — с каждым человеком мог найти общий язык. Даже старухе Легостаихе угадил — подновил ей старую выцветшую икону. Правда, когда старуха развернула дома и глянула на подновленную икону, то тут же ее и спрятала подальше: там вместо божьего лика красовалось улыбочное лицо Мишки Дронова.

Потом прошла война, прошло много времени. Давно уже не стало старой Легостаихи. Не вернулся с войны Мишка Дронов: под танк с гранатой кинулся. «А я все пытался себе представить, как Мишка Дронов шел на танк, — замечает автор, — но почему-то видел другое — как он шел тогда на разъяренного быка, не хотел ему дорогу уступить...»

Невольно подумалось: вот он — сибирский характер!

А икона? При чем тут икона? Оказывается, уцелела она в доме Легостаевых. Дом уже не тот — новый, большой, с резными перилами над крыльцом, с застекленной верандой, с антеннами на крыше. А со стены в этом новом доме «смотрит полужабытое, насмешливое лицо Мишки Дронова, написанное когда-то заезжим художни-

ком», «Та?» — спрашивает автор. «Та», — отвечает Маруся Легостаева. И неожиданно добавляет: «Пусть! По моему разумению, святее человека ничего нет. Ни-че-го!»

Незаметливо, без всяких там экспозиций, завязок и кульминаций автор ведет повествование так, будто рассказывает простую житейскую историю. И когда встречаешь тот же прием в последующих рассказах — «Бухон», «Когда у Дуськи убило корову» или «Тюески», — то воспринимаешь повествователя как бы уже своим собеседником, который открыто и доброжелательно делится с тобой самым сокровенным. Между тем произведения Ивана Кудинова зачастую не поддаются однозначному истолкованию. Тем более, что во многие его короткие новеллы вмещается иногда целая человеческая жизнь. А то — и не одна.

\* \* \*

Здесь в самый раз остановиться, оглянуться, подвести некоторые итоги нашим заметкам о книгах из серии «Современная сибирская повесть». Три книги — не так много, чтобы судить о всей серии, но уже тут напрашивается вопрос: с чем же Алтайское книжное издательство решило познакомиться читателей — вообще с творчеством местных писателей или все-таки с современной сибирской повестью?

Ответ здесь, конечно же, может быть только однозначным. А отсюда, стало быть, издательство и должно исходить при подборе произведений в дальнейшем. Задача серии — объединить наиболее значительные повести о современной Сибири, о современных сибиряках.

Нельзя, конечно, не учитывать того факта, что многие произведения, написанные даже о мнущемся, имеют прямую проекцию в сегодняшний день. И все же иное дело, когда писатель находится «лицом к лицу» с эпохой НТР, с нашей насыщенной, бурной, быстро идущей вперед современностью.

Соответственно всевозрастающей роли Сибири в строительстве светлого будущего нашего народа увеличивается, непрерывно растет и заинтересованность жизнью этого могучего края как у нас, так и за рубежом. В этой связи важен не только подбор произведений для книг рассматриваемой серии, но и так называемый социальный заказ. Ведь вот мы рассматривали три книги, в каждую из которых включено по несколько повестей, а с кем, с какими героями познакомились? Пока что преимущественно с труженниками сибирской деревни да в какой-то мере с некоторыми представителями интеллигенции. Слов нет, и те и другие заслуживают самого пристального внимания к их жизни и труду, к их немалым заботам, но ведь нынешняя Сибирь — это край самой современной индустриальной мощи. И читатель вправе ожидать в самом ближайшем будущем повестей о современном сибирском рабочем классе.

Повесть, вспомним еще раз, наиболее подходящий жанр для оперативного отклика на события современности.

Виктория ДУБРОВСКАЯ

## ОТ ПОЭЗИИ ДО ПРОЗЫ — ОДИН ШАГ

Герой повести Озолина «Черные утки»\* Буняков ничем не напоминает героев северных историй, суперменов с крепкими спинами и железными кулаками. Его герой из тех, что раньше называли «совслужами» с подразумеваемой коммунальной жилплощадью и ежедневным посещением учреждения. Словом, личность весьма ординарная. Словом, личность весьма ординарная. Что автор всячески подчеркивает. Более того, он, как бы дразня и подначивая, незаметно втягивает в эту игру читателя, повлекая его при этом и в действие самой жизни.

Было бы теперь соблазнительным припомнить крылатую фразу о том, что жизнь — театр, а люди в нем — актеры. Однако художественное содержание повести вовсе не сводится к этому. Театр? Да. Актеры? Конечно. Только настоящая, достойная жизнь начинается там, где разрушается «сценическая условность», и человек, переирав текст принятой на себя роли, вырывается за рамки ампула и жанра, словом, покидает наезженную житейскую колею. С этого момента, вероятно, и есть смысл говорить о герое Озолина как явлении положительном.

Здесь мы должны заметить, что вне своей колеи может выжить только человек с сильным характером, способный сделать выбор, совершить поступок. В литературе издавна на этом строились коллизии всяческого «отпадения от среды». Правда, без внешнего толчка он не способен вырваться из своей колеи — автор несколько не преувеличивает в этом смысле человеческие возможности Бунякова. Здесь, вероятно, и можно сказать о пафосе повести «Черные утки», созвучном тому, что выражен прямым авторским словом в «Территории» О. Куваева: «...Так почему же вас не было в тех тракторных саях, и не ваше лицо обжигал морозный февральский ветер?.. Где были вы все эти годы? Довольны ли вы собой?»

Таким образом, в рамках побочной «производственной» темы автор не вдается в суть и подробности отношений и конфликтов, а очерчивая их только, предлагает сперва принять меры. Как замечает начальник управления тралового флота: «Когда на море шторм — на берегу много умных!» Личное участие, а не представление о деле по бумагам может иметь экономический

и нравственный смысл. «А что, братцы, — говорит, «по-молодому улыбаясь», парторг Головки, — неужто не засиделись? Неужто не хочется дыхнуть родным соленым ветерком?» Тогда и приходит мысль о том, что для всех, засевавших теперь в конторе людей, некогда море было их жизнью, стихия морского ветра — родной стихией. И речь идет о своего рода возвращении к тому, от чего человек ушел, поднимаясь по ступеням бытия, — возвращении к морю, ветру, романтике минувшей молодости...

Для В. Озолина таким временем была «поэтическая эпоха» 60-х годов, давшая особый жанр в нашей литературе — лирическую прозу. В повести «Черные утки» сохраняется своеобразная жанровая память о лирической прозе тех лет. И в целом она воспринимается как произведение во многом очень личное — проза поэта.

\* \* \*

Начало перемен в судьбе героя повести связано с резким нарушением им правил игры: он, что называется, «врезал» некогда в собственном своем служебном кабинете, где предусмотрены иные меры и приемы воспитания. Разлад с ответственной ему ролью пачался у Бунякова давно. Сначала от сознания того, что возможна другая жизнь. Тоска по ней, как тоска по юности, разрушает ощущение благополучия и благотворна даже, когда нет и быть не может возможности покинуть свою колею: «Плынем себе и плывем по бурному житейскому морю... А что если нам и правда однажды плюнуть на все и напаяться на траулер простыми матросами?» Блажен, в ком не погасли эти желания, даже если жизнь крепко держит за крылья. Не об этом ли писал Л. Мартынов: «Поволнуей горд и непокорен. Это и зовется красотой». И всяческой похвалы достоин тот, кто делает следующий шаг.

Начало перемен в сознании героя обозначено его отступлением от «сценария»: он «перепутал легенду» и вместо изложения разработанного сюжета, долженствующего объяснить позднее появление домой после ужина с друзьями, устроил жене сцену ревности. За что «схлопотал» восхитившую приятелей «рецензию». Это нарушение отработанной версии, происшедшее вдруг не по плану и замыслу, а по неожиданному возникшему импульсу, душевному движению, явилось началом перемен,

\* Иркутское кн. изд-во, 1984.

что позволило автору назвать Бунякова среди тех, за которых можно «ручаться головой», потому что «они еще сами себя ищут. Они в пути». Только почему «еще»? Разве полагает автор, что герой его может обрести свою тихую пристань?

Театральные атрибуты и бутафория — неизменные спутники героя на сцене жизни. Однако наступает момент, когда отменяются маски и театральные тряпки, наступает пора не «читки», а «полной гибели всерьез», т. е. не игры, а настоящей жизни, символом которой в повести является море — стихия, простор, где «работа, матерщина, кровь», все то, что немислимо в рамках самого реалистического театра...

В повести Озолина «бурное житейское море» — привычная метафора, рожденная в рамках того театра, где до поры до времени подвизается Буняков. То, что он в роли, видно сразу: «Пальто, шапка, сероголубой шарф — все это сидело на Валерии Ивановиче свободно и артистично». Образы, несущие семантику театра, проходят через всю повесть, составляя сквозной мотив. Вот в кабинет Валерия Ивановича входит Пухов: «Сначала протиснулся край серого прорезиненного плаща, а затем появился массивный, сплюснутый двуспальный портфель... и уж только после этого режиссера (Здесь и далее слова в цитатах выделены мною. — В. Д.) наконец на пороге появился небольшого роста молодой мужчина». Соседка Бунякова Бэла Исааковна, с которой автор в духе ремарки замечает, что она «не сыграет в повести какой-то особенной роли», держится не без расчета на публику: «Предполагалось, что это будет начало целого спектакля». Впрочем, автор не совсем точен, определяя место Бэлы Исааковны в событиях, именно она нажмет на рычаг, повернувший судьбу Бунякова: вызовет доброго гения из журнала «Крокодил» с сатанинской фамилией Злыдинский. Без вмешательства посторонних, да еще наделенных особыми «крокодильскими» полномочиями, сил нашему герою не суждено выбраться из неблагоприятных обстоятельств. Так в несколько inferнальном облике на сцену является справедливость, существующая объективно, но приведенная в действие хлопотами сведущих в том, кто прав, кто виноват, и заинтересованных в ее торжестве людей.

\* \* \*

Пространство крохотного жилища Бунякова становится безграничным, когда он работает над повестью, так и недописанной до конца: «Полярное сияние играло сегодня под потолком буняковской комнаты». Преградой между человеком и миром, хранящей суверенность его отдельной жизни, в повести становится дверь. Разные двери будут объектом внимания писателя, одна же особенно значительна: за этой монументальной дверью обсуждается поступок его героя, за нею предъясняет Гуненков утраченный по вине Бунякова зуб, из-за этой двери выскакивает заплаканная секретарша. Эта дверь закрыта, и Бунякову перед ней страшно. Так он и не дождался решения своей участи, не выдержал ожи-

дания перед дверью, ушел от нее и, стало быть, со службы. Герой оказался «слаб на расправу». Много позже Буняков осознает свой поступок как трусость: «Двери испугался!.. Хари ее дерматинновой, казенной». Автор, с одной стороны, подчеркивает бутафорскую сущность двери, а с другой — ее действительную возможность влиять на человека, диктовать ему определенное поведение. Не будем преуменьшать обаяние обхоженной и выхоленной двери, прямой требующей к себе особенного почтения, да еще рядом с другими, обшарпанными, рядовыми. Ладно, не ей судьбы дано решать, а людям все-таки. Не случайно, видать, давным-давно русский ум сочинил сказку, где такая дверь, что легко с петьель снимает Иван-дурак и иссет с собою, если уж при ней неотлучно следует быть! А современный, многими любимый бард проникновенно напевает: «Не закрывайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта!» Море хорошо и тем, что нету в нем дверей, ни стучать, ни ожидать не надо: все видно, и все видны.

На пути к своему морю Буняков найдет друга, вернее, не найдет, а обретет. Дима Глыга — сосед Бунякова. Об этой трудовой семье железнодорожников, живущих за одной из дверей буняковской квартиры, автор говорит с осторожной почтительностью. Все-таки не свой брат-газетчик, почти что писатель, привыкший к словесным вольностям... Дима Глыга из тех, кто может критически относиться к своей роли. Причем его поступки и последовательнее, и решительнее, и существеннее буняковских. Он знает, как следует по справедливости, так и поступает. Образы этих героев строятся параллельно, все в той же театральной стилистике. Если на Бунякове вся его экипировка смотрится «артистично», то на Глыге просто «кепочка из театрального плюша». У него и свой театр есть, и конфликт с начальником — хапугой Чириковым, которому присваивается «говорящая фамилия» — Чирей: «Занавес был открыт — героем сцены выступал Чириков». Глыга устраивает целый спектакль, выставляя на всеобщее осмеяние склонность Чирикова тянуть все, что плохо лежит. И чувствует он, что за вольное обращение с чириковским сценарием, за выход из рамок амплуа можно остаться актером без роли. И у него, как и у Бунякова, есть желание оставить этот театр, иначе устроить свою жизнь.

Родство этих героев глубокое, возникшее поверх общих интересов, родственных или профессиональных связей, оно издалека, «из детства, из того сказочного театра, где впервые человек познает добро и зло...» Таким образом, само понятие театра в повести не однозначно. Вопреки тенденциям психологической прозы, автор не стремится заглянуть в душу героя. Повесть очень тактична в этом отношении. Согласно общей концепции театра, писатель берет внешнюю сторону, а уже за видимым открывается та область ассоциаций, когда картины, случившиеся из жизни сопрягаются в единое целое, в основе которого авторское видение мира. Именно на этом уровне объединяются фрагменты, часто не связанные сюжетно.

\* \* \*

Дважды Буняков и его приятель Глыга ступают на «боковую тропу» со своей проторенной житейской дорожки. Эти повторяющиеся (рифмующиеся) ситуации позволяют зафиксировать те изменения, что произошли в миропонимании героев, и, с другой стороны, мотив «боковой тропы» выделяется в сюжетном движении, как два витка спирали непрямого движения по жизни главных персонажей повести.

Не вынесши «страдного пути аскетизма», после рыбалки, не давшей освобожающих душу желаемых результатов, любители природы ступили на «боковую тропу». К этому факту столь обыденного падения героев автор относится снисходительно-иронически, напевая им жалостливую городскую песню: «Не долго мучилась старушка в злодея опытных руках». Под эту песенку они и завернули в «Железку», ища более действенного бальзама на свои душевные раны, чем свежий воздух. Пойманной ими рыбине удается пережить и это: «Когда рюкзак с камбалой сдавали на вешалку, она так сильно заколотилась — даже жестянки загремели».

Непростой оказалась эта пирушка, во время которой «шампанское из буфета лилось прямо-таки рекой». В ней — тоска по настоящему, по «всамделишной» большой воде. Однако и в этой искусственной и ядовитой атмосфере камбала, дитя свободной стихии, все-таки выжила. «Она нас ждала и не погибла в такой духоте», — говорит Дима. Доконала жительницу моря обстановка в буняковской квартире. К. С. (из солидарности с героем и автором и я так буду называть супругу Бунякова Казимиру Станиславовну) кинулась на кухню и со злостью метнула камбалу в помойное ведро. Ударившись о край ведра, рыбина совершила предсмертный кульбит и зашлась мелкой дрожью».

Этот эпизод оказался решающим, вызвавшим окончательный приговор героя своему семейному ковчегу. «Здесь не только рыба задохнется... Здесь все живое глаза выпучит», — почти шепотом проговорил он. Итак, эта «боковая тропа» никуда не привела — и река шампанского, где искали забвения герои, и море, и рыба — все померкло перед тем, что называется обычной жизнью без причуд, без мечты о какой-нибудь там «большой рыбе».

\* \* \*

Вильям Озолин до сих пор был известен как поэт. «Черные утки» — его первая прозаическая книга. Впрочем, с лирикой здесь связь не порвана, прямое авторское слово занимает место не меньше, чем объективное изложение тех или иных фактов. Более того, герой повести Буняков многим в себе похож на автора. Например, Буняков пишет повесть, и во фрагментах этой повести есть прямые переключки с «Северной историей», опубликованной в этой же книжке (эпизод с раненой девочкой-ненкой). Таким образом, повести связаны между собой не только материалом северных

впечатлений, но и структурно. Это может в известной мере объяснить их разный художественный уровень. «Черные утки» — произведение, несомненно, более организованное. В «Северной истории» более «работает» сам материал, нежели его претворение. Поэтому я и остановилась подробно на повести, на мой взгляд, более значительной. «Северная история» вводит в атмосферу северного бытия, и при «Черных утках» скорее имеет дополняющее и разъясняющее значение. Об этом следует сказать потому, что повести Озолина открыты и на лабораторном уровне, сам процесс творчества становится частью сюжета, одной из его линий. В этом есть свои опасности для художника. Допустим, так можно оправдать несовершенство и шероховатость стиля: ведь идет создание произведения, так сказать, на глазах читателя, что и демонстрируется. Но есть и положительные стороны — обогащение самого сюжета, всего содержания, атмосфера доверия к читателю.

\* \* \*

Связь с лирикой находит отражение и в композиции повести. Она начинается с двух «отступлений». Автор словно бы берет разбег в привычной лирической сфере прямых монологических высказываний «от себя», не передоверяя своего слова даже близкому духовно персонажу. Эти два «отступления» в начале повести нарушают привычную симметрию вне сюжетного обрамления повествования.

Первое из них — иронический монолог, где автору важно указать на двойкий характер всякого произведения: оно и литература, и научный трактат, т. е. содержит объективную информацию о жизни. Это «отступление» — информация о том, что есть «залетные граждане» и есть другие — «черные утки». Последние — личности, создавшие свою своеобразную северную религию: «На суше, окруженной со всех сторон морем, с религиозным фанатизмом веруют в дружбу». Таким образом, намечается мысль о том, что главная опора всему — человек, его гражданская и нравственная позиция, выраженные не теоретически, а в поведении. Причем природа создала и образец такого поведения — черных уток. Так что если судить о повести с этой стороны, т. е. той, где она трактат, вне ее образной системы пока, то она — о той верности себе, и Северу, и другу, цена которой возрастает в условиях суровых, где зависимость человека от людей во сто раз большая, чем в другой обстановке.

Автора явно беспокоит то обстоятельство, что его герой не лишен человеческих слабостей и не всегда может находиться на высоте максимальных нравственных требований. Во втором «отступлении» он определяет отношение к тому, что называется «проблемой положительного героя». Его герой вовсе не тот, что годится для подражания, не есть оформившийся образец, он из тех, что еще «сами себя ищут». И «научный» подход, как его понимает автор, нарочито скандализируется. Положительный герой оказывается неуловимым и незаметным. «Где ты, Вася?» — вопрошает автор,

замечая, что отрицательного и видеть, и распознавать легче, от него запах резкий идет — с насморком учуешь, а положительный — в глаза не бросается.

Замечу, что проблема положительного героя не равна вопросу: «С кого брать пример?» — здесь автор явно упрощает дело. Но ведь он как будто и не берется эту задачу решить. Это вопрос его личный, насущный на пороге повести, и он признается в том, что сей вопрос его «...самого сейчас за глотку держит». Мы были бы не правы, относясь к этим довольно уязвимым суждениям как к самоценному участию в споре о положительном герое с претензиями на какое-то особое и принципиальное в этой области открытие. Это «отступление», адресованное читателю-критику, выполняет функцию профилактического приема, чтобы не ожидали того, чего, по мнению автора, не бывает и в природе, т. е. некоего особенного по своим качествам героя, что заслужил бы за свое безупречное поведение титул положительного. Ради этого и пародируются «писанные и неписанные законы беллетристики», ставится под сомнение смысл такого «подсобного хозяйства», как проблема положительного героя. Т. е. получается так, что автор еще до драки кулаками машет и порой делает это довольно хаотично, чтобы не сказать напрасно. Например, он пишет: «По неписаным, а более того, по писаным законам беллетристики, повесть, роман или рассказ должны начинаться с эффектной завязки: с погони, выстрела в ночи, пропажи и так далее». Вроде бы писатель намеревается сделать так, как не предусматривают и те, и другие, издевается над ними и т. д. Однако начинается-то повесть все-таки с пропажи... положительного героя. И далее декларация не раз будет противоречить выраженному в образах содержанию повести. Если, например, отрицательного сразу видно — он домашние тапочки на калоши надевает, — то и на противоположном полюсе есть ряд столь же очевидных примет, правда, не таких оригинальных. Например, Буняков, конечно же, подбирает бездомную собаку. Это ли не то, что позволяет за версту «чуять» его «положительность»? Плохому-то свойственно обратное: «пса голодного от двери, икнув, ногою отпихнуть». Так что, хотя автор и очерчивает магический круг, и отрешивается от некоторых устойчивых штампов, от существования неких особенных черт «положительности», они тут как тут. Преодолеть же это можно не декларативно, а художественно. Только прежде спросим себя: что требуется преодолевать? Традиционность в способах изображения положительного — отрицательного, помимо литературного «обычая», лежит еще и в сфере нравственных максим, когда «хорошо» и «плохо» не нуждаются в какой-либо свежей аргументации. Герой же повести, думаю, вполне обходится и без той «дохудожественной» защиты, что предлагается ему во вступлении — «отступлении».

Обращение поэта к прозе рождает целый ряд стилистических особенностей.

С одной стороны, это стремление строить образ ассоциативно, прямое авторское вмешательство в жизнь героя, прямая оценка персонажей и т. п., с другой — некая стилистическая избыточность. Похоже, что после стихов, способных «язык укорачивать поэту», он, освободившись от необходимости «ходить по бечевочке», как называл стихотворство Салтыков-Щедрин, всею душою отдался возможности много и свободно говорить. И эта неудержимая тяга тут же отомстила автору. Вот, например, как говорится о явлении к Бунякову Злыдинского: «Следуют еще две блестящих по исполнению клаузулы между фразами: — Вы не очень заняты?.. Разрешите войти?» Вероятно, здесь подразумевалась та пауза, что в стиховедении носит название цезуры. Клаузула тут явно ни при чем, впрочем, невозможно и две паузы между двумя фразами. Словом, не вполне ясно, что понимается под столь изысканной терминологией. Я бы, может, и пропустила это как частность, описку, если бы это не было следствием тенденции выражаться, скажем, чуть кудрявее, чуть чаще поминать кульбиты и пр., чем это необходимо. Сильные средства и в литературе требуют строгой меры.

\* \* \*

В повести Озолина материал связывается, помимо «закрытых», приличествующих повествовательным жанрам способов, еще и орнаментально, как в лирике. Не всегда эта связь вполне прочна. Так, недогруженным представляется анекдот, рассказанный одним из персонажей и добросовестно переданный автором; история «А вот у нас на коробке был собак» — фрагмент орнамента, заставляющего вспомнить В. Конецкого. Но тот только поминует о пристрастии моряков по-своему называть самые обыкновенные вещи, например, говорить не «собака», а «собак» — и все. У Озолина это целая история, одна из тех, кои в избытке набиты головы ждущих своего слушателя «морских волков».

Конечно, это можно объяснить, например, стремлением писать так, «чтобы все, как в жизни». Но следование за материалом оборачивается другой стороной, когда пора задавать вопрос: где же искусство? Я бы назвала подобное изобилие следствием торопливости, вовсе неуместной в избранном жанре романтической повести, требующем особой тщательности в отделке и стиле.

В своих заметках я не ставила целью расставить все точки над «и», мне было интересно следовать за мыслью писателя, вникать в суть иных приемов — находить или не находить им объяснение. Я думаю, что прозе поэта суждена непростая жизнь — здесь много сказано серьезного, задевающего ум и воображение. А. Платонов как-то заметил, что «...читатель желает увидеть в каждом произведении свежий, незнакомый, беспокоящий его и лучший мир, чем тот, в котором он уже существует сам по себе».

С. ТАРБАНАКОВА

## «ОЙРОТ-ТЕАТР»~ ПЕРВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР ГОРНОГО АЛТАЯ

Театра в Горном Алтае до революции не существовало ни в самодеятельном, ни в профессиональном виде. Кочевой образ жизни коренного населения и соответствующий ему уклад жизни, социально-экономическая неразвитость и культурная отсталость препятствовали возникновению театра. Но элементы театрального искусства существовали в культовых и бытовых обрядах, в исполнении героического эпоса, в народных играх и песнях.

Первые кружки театральной самодеятельности возникли на Алтае сразу же после установления Советской власти в таких селах Горного Алтая, как Улала, Чемал, Шебалино. Это были села с преимущественно русским населением. Вслед за ними возникают драматические кружки в алтайских селах. 20-е годы — это годы бурного развития театральной самодеятельности и драматургии, что вызвано было жизненной необходимостью. При наличии всеобщей неграмотности, при отсутствии книг на родном языке легче было через живые картины донести идеи революции и показать наглядно те коренные изменения, которые принесла Советская власть. Театральные кружки Улалы, Узнези, Шебалина, Александровки, Улагана, Кош-Агача, Курмач-Байгола ставят пьесы первых алтайских драматургов А. В. и Ф. С. Тозыяковых, М. В. Мундус-Эдокова, А. Точкова, Н. Каланакова, Н. Чевалкова, Г. Токмашева.

В 30-е годы в Горном Алтае остро ощущается необходимость профессионального театра. Все понимали, что театр наиболее действенное средство пропаганды новых идей и культуры народа. Зритель хотел видеть на сцене правду о себе, о времени. Об организации театра поднимается вопрос в периодической печати. «Возникает мысль о создании единого руководящего центра театрального искусства, обусловленная возросшими потребностями самих трудовых алтайских масс на этом участке культурного фронта. Мы должны организовать подготовку национальной молодежи к театральной культуре, театральному искусству, проявить решительность в социальном наступлении на идеологическом фронте, решительно выбывая с этих позиций классово-враждебные нам элементы.

Сосредоточие национальных школ повышенного типа в городе Ойрот-Тура — педтехникума, профтехнической школы и сельхозтехникума с интернациональным составом слушателей и наличие культурных кадров в городе — способствует созданию национального театра», — писал корреспондент И. Баженов на страницах газеты «Ойротский край»\*.

В 1932 году к празднованию 10-летия Ойротской автономной области обком ВКП(б) принял решение об организации национального театра. Облсполкому было поручено к дням празднования 10-летия образования автономии закончить строительство здания театра. Национальному издательству предлагалось активизировать работу над переводами русских пьес, редакциям областных газет объявить конкурс на лучшую инсценировку или монтаж, в котором отразятся все достижения за годы существования области.

К дням празднования была написана первая пьеса П. В. Кучияка, основоположника алтайской советской литературы, «Борьба» («Телижу»). В пьесе рассказывалось о классовой борьбе вокруг колхозного строительства. Баи Бедей и Абаш до революции были владыками края, но Советская власть лишила их и богатства, и былого могущества. Баи затаили злобу и стали вредить, пробравшись в колхоз. Бедняки, преданные Советской власти, разоблачают их... Удачей драматурга стал образ коммуниста Курдеша, малограмотного человека, но беспредельно преданного партии. Многого он не понимает, но прилагает все усилия, чтобы разобраться в сложных вопросах жизни. Пьеса была несовершенна, и это понимал сам автор. Она была поставлена курсантами совпартшколы. Как вспоминает известный сибирский писатель А. Л. Коптелов, «в день премьеры, это было в дни празднования, П. В. Кучияк вышел перед зрителями до начала представления. Рассказал о том, как пришла мысль написать пьесу и как он над ней работал, познакомил русских зрителей с содержанием и свое выступление закончил словами: действия

\* Баженов И. И. Организуем национальный театр. Газета Ойротский край, 1930, 3 декабря.

мало, агитации много, сами увидите\*. Но, несмотря на недостатки, спектакль прошел с большим успехом.

В праздновании принимал участие молодой, созданный год назад хакасский национальный театр, который трудно было еще назвать театром, скорее это была агитбригада синематистов. Коллектив хакасского театра показал алтайским зрителям концертную программу и спектакль о событиях гражданской войны. Но желая сделать спектакль по материалу, близкому алтайскому зрителю, хакасские артисты объединили события гражданской войны в Хакасии и Ойротии. «Получилось, — как отметил А. Л. Коптелов, присутствовавший на спектакле, — непонятное смешение. Были показаны эксплуатация баем бедноты в дореволюционное время, гражданская война и Советская власть. Затем по ходу пьесы в хакасское селение ворвался известный на Алтае бандит есаул Кайгородов. Поп передал ему список красных. Есаул, заливаясь злорадным хохотом, командовал расстрелом. Кайгородов в Хакасии так же нелеп, как был бы нелеп Махно со своими тачанками в Горно-Алтайской деревне\*\*». И спектакль, и примитивная актерская игра не могли увлечь зрителей.

Обком и облисполком решили искать для создания национального театра другой путь, чем создание театра из участников художественной самодеятельности, как было сделано в Хакасии. По ряду объективных причин театр в 1932 году не был открыт. Одна из основных причин — отсутствие профессиональных кадров актеров и режиссеров. Но вопрос создания театра оставался. В 1933 году на областной культурно-просветительской конференции профсоюзов была принята специальная резолюция об организации профессионального театра, в которой поручалось Ойротпромсоюзу театральное обслуживание города. В 1925 году в Ойрот-Туру пришла работать небольшая труппа артистов, возглавляемая режиссером Л. Н. Баским, которая периодически ставила спектакли в Рабоче-Крестьянском клубе совместно с участниками драматического кружка этого клуба. Ставились в основном пьесы из репертуара московских театров Корша и Незлобина, такие, как «Чужие, или отец и сын» Н. Потапенко, «Лабиринт», «Казнь», «Ванька-ключник», «Старообрядка» и другие. Спектакли были невысокого художественного уровня, но имели успех у зрителя. В таком составе труппа Баского работала до 1933 года. С весны 1933 года Ойротпромсоюз, имеющий средства на культурную работу, организовал группу Баского в артель кустарей под названием «Коллектив работников «Ойрот-театра», работающий по типовому уставу Промкооперации с паевыми взносами. Кроме того, Ойротпромсоюз выделил дотацию «Ойрот-театру» в сумме 16 тысяч рублей\*\*\*.

С именем Леонида Николаевича Баского связано зарождение профессионального театрального искусства в Горном Алтае.

\* Коптелов А. Л. Улу-Байрам. Сибирские огни, 1932, № 7—8.

\*\* Там же.

\*\*\* ГАНУ, ф. 896, о. 1, д. 263, р. 106.

Сама личность Л. Н. Баского была незаурядна. По образованию ветеринарный врач, Баской закончил университет в Казани, участвовал в русско-японской войне. Неожиданно для своих родных и знакомых, демобилизовавшись из армии, Баской становится актером. Он работал во многих городах Центральной России и Сибири: Казани, Сызрани, Самаре, Воронеже, Полтаве, Омске, Эриване, Таганроге, Тобольске, Барнауле, Москве. С 1914 по 1917 год воевал на фронтах первой мировой войны. Баской был чутким и хорошим педагогом, человеком беззаветно любящим театр. В Горном Алтае Л. Н. Баской проработал восемь лет. В труппе под его руководством работало 20 актеров, часть из них была набрана из активных и талантливых участников художественной самодеятельности, в их числе были известные поздние актеры Л. А. Кириченко, Е. Кошкарлова-Фролова.

Первым спектаклем, который поставил коллектив «Ойрот-театра», был «Лес» А. Островского. Спектакль был поставлен, как отмечалось в рецензии газеты «Красная Ойротия», в реалистическом ключе. Раскрывался занавес, и перед взором зрителя возникала барская усадьба, окруженная густой чащей леса. К ней спешили два бродячих артиста — Счастливец (Кузьмин) и Несчастливцев (Баской). Правдивы и жизненны были в спектакле образы Гурмыжской — Е. Фроловой, Восьмибратова — Крылова. Гурмыжская в исполнении Е. Фроловой была молодящейся, властолюбивой помещицей, живой тип своенравной пустенькой барыни. Напористо шагала по усадьбе Гурмыжской бывший крепостной, теперь крепкий купец Иван Восьмибратов — И. Томплов. Гурмыжской и Восьмибратову в спектакле противопоставлялся актер Несчастливцев — Баской. Образ Несчастливцева в спектакле трактовался как представителя театральной богемы гордого барина в душе, но сломанного нуждой и жизнью, рецензент его называл запоздалым Рудиным\*. Отмечалось высокое мастерство актера Баского, его богатство изобразительных средств, тонкое проникновение в психологический мир изображаемого героя, проникновенный голос. Хорош был в спектакле Аркашка — Кузьмин, который создал резко контрастный образ по отношению к Несчастливцеву — Баскому. Но иногда внешние комические эффекты заслоняли внутреннее содержание образа. Конечно, не все прозвучало одинаково сильно. Неубедительно играла актриса Печерских Аксюшу. Но хорошо, продуманно играл молодой актер Л. Кириченко Буланова. В целом спектакль «Лес» вызвал положительные отклики зрителей. Следующей работой «Ойрот-театра» была постановка комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». Выбор пьесы оказался удачным, так как в ней были образы и ситуации, понятные и близкие зрительской аудитории и самим актерам. Хорошо был передан в спектакле сатирический смысл комедии. Исполнители нашли яркие краски, правдивые детали для обрисовки характеров своих персонажей. Центральное место в спектак-

\* Автоманов Г. Лес. Красная Ойротия, 1933, 26 мая.



ле занял образ городничего в исполнении Баского. Жизнь реальная, сочная была в игре актера, когда его герой, пыжась от самодовольства, что он роднится с важной птицей, спрашивает жену: «Где мы теперь будем жить, здесь или в Петербурге?» Хлестаков в исполнении Кириченко Л. А. был глупый прожигатель жизни, мягкий по характеру и очень красивый молодой человек. Но молодой актер не сумел справиться до конца с ролью. Иногда интонации голоса, жесты напоминали ранее сыгранных Кириченко сценических героев. Жизненным и выразительным был актер Хмелев в роли слуги Осипа. Земляника Агашкина был трусливым, вороватым человеком, чрезвычайно угодливым. Марья Антоновна Васильчиковой была очень женственной, изящной и до глупости наивной уездной барышней. Общественность города и пресса положительно оценили работы молодого коллектива.

«Ойрот-театр» работал в трудных условиях. Здание театра было плохо приспособленным, сырым, не хватало помещений под цеха. Особенно бедна была материально-техническая база театра. Театр нуждался в световой аппаратуре, хороших декорациях, профессиональных силах как актерских, так и технических. Но несмотря на трудности, актеры трудились с большим энтузиазмом. За период работы в качестве артели Ойротпромсоюза (с марта 1933 года по август 1934 года) театр поставил свыше 36 пьес. Это были пьесы русской и зарубежной классической драматургии: «Гроза», «Волки и овцы», «Без вины виноватые», «Василиса Мелентьева», «Лес» А. Н. Островского; «На дне», «Враги», «Егор Булычев» А. М. Горького; «Ревизор» Н. В. Гоголя; «Коварство и любовь» Ф. Шиллера; «Медведь», «Предложение» А. П. Чехова; пьесы современных авторов: «Чапаев» Д. Фурманова, «Мой друг» Н. Погодина, «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Разгром» Б. Лаврентова, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Поднятая целина» М. Шолохова и др.\*

Репертуар театра был обширен и пестр. Театр ежемесячно давал 12 спектаклей, из них 3 премьеры, т. е. каждая пьеса шла в среднем по четыре раза. Такое большое количество премьер объяснялось тем, что число зрителей было невелико, разнородно и непостоянно. Конечно, наряду с классической и хорошими современными пьесами театр ставил и так называемые кассовые пьесы, которые не отличались художественными достоинствами. Так были поставлены спектакли, о которых можно судить по содержанию: «Остров любви», «Двойники-антиподы», «Три вора», «Вздор», «Путь далекий», «Альбина Мигурская», «Николай I» и другие\*\*. Не всегда театр учитывал свои возможности и брал такие постановки, которые требовали много и материальных затрат, и профессиональных сил, в результате получались спектакли низкого художественного уровня.

Театр старался не проходить и мимо современной темы. Одной из первых попыток в этом плане можно считать постановку

ку спектакля «Пурга» Журдины. Пьеса была написана под сильным влиянием Д. Лондона. В пьесе присутствовали все атрибуты мелодрамы, действие разворачивалось на Крайнем Севере в пургу. Спасаясь от революции, бежал директор золотых приисков Стивенсон. Снежным потоком обрушилась на беженцев пурга. В результате отстает от своих спутников дочь Стивенсона Олан и ее жених Генри, находя спасение в затерянной хижине. В это же убежище, спасаясь от пурги, заходит русский революционер Владимир. И убогая хижина становится свидетельницей столкновения двух разных миров. Представитель одного, старого и отживающего, Генри, другого — сильного, стремящегося неудержимо к борьбе за освобождение порабощенных миллионов неправых, — революционер Владимир. Олан влюбляется во Владимира, да и она не безразлична ему. Но Олан не может порвать со своим миром. Кончается пурга, и она уезжает вместе с отцом и женихом в Америку. Спектакль так же, как и пьеса, не обладал большими художественными достоинствами. Но в нем была попытка создать положительного героя революционера в образе Владимира. В исполнении Баского Владимир был похож на героев Джека Лондона — сильных, смелых покорителей Севера, красивых внешне и мужественных, дерзающих, увлекающих за собой. Спектакль, несмотря на наивное и примитивное изображение революционных событий, имел успех. «Спектакль современ... насыщен силой взрывчатых наших дней», — писал Г. Автоманов в рецензии.

Обращение молодого коллектива к русской и зарубежной классике имело большое значение и для творческого роста актеров, и для воспитания зрителей. Молодые актеры учились и повышали на классических произведениях свое мастерство. Театр, несмотря на недостатки в работе, вызывал любовь и признание зрителей. Посещение театра приравнивалось к празднику, к награждению премией. «Лучшие места в театре — ударнику» — такой призыв прошел по всем предприятиям и учреждениям города Ойрот-Туры.

Одной из основных задач, стоявших перед «Ойрот-театром», была задача воспитания национальных кадров. В октябре 1933 года театр объявляет набор в студию лиц коренной национальности и лиц других национальностей, знающих алтайский язык. Но студия не была открыта из-за ряда объективных причин.

Новый сезон 1933 года театр открыл спектаклем «Ненависть» Яльцева. Спектакль получился современным и динамичным. Он рассказывал о людях науки, которые активно участвовали в социалистическом строительстве, о борьбе с классовым врагом, разбитым в открытом бою, но не смирившимся и перешедшим к борьбе из-за угла. В центре спектакля был образ профессора Бартеньева, созданный артистом Л. Баским, русского ученого, любящего Россию, но не понимающего сложившейся ситуации. Затем были поставлены «Междубурье» Курдина, «Свадьба Кречинского» Сухова-Кобылина и другие. К годовщине своей театр осуществил постановку пьесы

\* ГАНО, ф. 896, оп. 1, д. 263, л. 108.

\*\* Там же.

Б. Лавренева «Разлом». В работе над спектаклем режиссер А. Туманов и актеры избежали бытовых подробностей и ненужных деталей. Спектакль получился суровый и мужественный и имел большой успех у зрителей. Через год работы в качестве артиста Ойротпромсоюза театр был передан в ведение горсовета, а затем в систему театров управления театрально-зрелищных предприятий Западно-Сибирского края.

Условия, в которых работал молодой коллектив, оставляли желать лучшего. В периодической печати не раз поднимался вопрос об оказании помощи молодому коллективу. Несмотря на тяжелые материальные условия, театру оказывалась немалая помощь. К новому сезону была сделана вертящаяся сцена, приглашены новые профессиональные актеры.

В начале сезона 1934/35 года в «Ойрот-театр» приезжает новый художественный руководитель режиссер Ф. А. Новиков. Воспитанник московских театров, Ф. А. Новиков был режиссером современного типа, хорошо осведомленный о всех театральных направлениях. Больше всего в творчестве режиссера чувствовалось влияние Мейерхольда. Это проявилось в выборе репертуара и в воплощении его на сцене. Первой работой молодого режиссера была постановка спектакля «Ревизор» Н. В. Гоголя... Как отмечал критик, режиссер принес в театр и новые формы спектакля, завоеванные ведущими театрами Советского Союза, широко распространенные по всей стране методы современного сценического воплощения. В спектакле «Ревизор» В. Новиков раздвинул сцену, опрокинув барьер, разъединяющий публику со сценой, ввел в действие выход персонажей из зала. Сделал четвертую стену, поставил окно, которое как небольшой, но важный штрих оригинально расширило сцену. Обслуживающий персонал также выходил на сцену во время действия. «Ревизор» уже появлялся на сцене «Ойрот-театра». С большим чувством ответственности актеры и режиссер репетировали пьесу. Они стремились найти для характеристики каждого персонажа наиболее активные действия, режиссер придумывал и вводил интересные и новые мизансцены, которые служили раскрытию общего замысла, и в целом спектакль в новой трактовке получился более глубоким, интересным и хорошо был принят зрителями.

Другой спектакль, который поставил вскоре Ф. Новиков, был «Чапаев» по одноименному роману Д. Фурманова. Спектакль имел большой зрительский отклик. На сцене воссоздавались годы гражданской войны. Режиссер-постановщик мастерски ввел в ткань спектакля показ кинокадров. Интересным и удачным было музыкальное сопровождение. И, конечно, несомненная удача — образ главного героя, исполненный актером и режиссером Ф. Новиковым. Показав настоящего героя гражданской войны, самоотверженного, непоколебимого борца за дело революции, Ф. Новиков передал и внешнее сходство с легендарным Чапаевым. Постановка «Чапаева» оставила огромное впечатление у зрителей Ойрот-Туры. Показ спектакля совпал

с днями празднования 17-й годовщины Октября и 15-летием освобождения Сибири от Колчака. Специально для делегатов 9-й областной партийной конференции был показан спектакль. В зале присутствовали также и воины легендарной Чапаевской дивизии, и появление на сцене Чапаева-Новикова в легендарной бурке они встретили бурей восторга и громкими криками одобрения\*.

Вслед за «Чапаевым» были поставлены: «Счастливая женщина» Тригера, «Две сиротки» Массы, «Зарево» Гайдовского, «Девушка из 17-го» Мечталина, «Дорога Цветов» Катаева. От «Чапаева» до «Двух сироток», как отмечали критики, была дистанция огромного размера. Эти постановки в корне отличались друг от друга по своей общественной значимости и по своему художественному содержанию. «Театр снижает качество работы, — пишет периодическая печать. — Будем надеяться, что от «Дороги Цветов» театр возьмет курс на постановку современных, политически заостренных и близких нам пьес\*\*».

Последующие постановки таких пьес, как «Чужой ребенок» Шваркина, «Чудесный сплав» Киршона, «Хорошая жизнь» Амаглобели, «Мятеж» Фурманова, «Огненный мост» Ромашова, говорят о качественном изменении репертуара. Было уделено внимание и постановкам классического репертуара.

Постановки Ф. Новикова привлекали к себе внимание зрителя и критиков своей необычностью подхода к темам пьес и в воплощении их на сцене. Репертуар театра состоял в основном из современных пьес. Это был новый этап развития молодого коллектива, в котором театр достиг определенных успехов.

В современных спектаклях затрагивались значительные жизненные вопросы, обличительный смех был направлен против тех недостатков, которые существовали в жизни. Кроме того, актеры осваивали новые приемы сценической игры.

Летом 1935 года впервые был сделан обмен между бийским и ойротским театрами. «Ойрот-театр» выехал на гастроли в г. Бийск, в Ойрот-Туре (ныне Горно-Алтайск) работала бийская опереточная группа. К сожалению, Ф. А. Новиков проработал в «Ойрот-театре» один сезон. Летом этого же года был начат ремонт и переоборудование здания театра. К новому сезону была приглашена из Москвы группа актеров и новый режиссер Н. Головин. «Н. Головин имел долголетнюю практику, работал в Москве режиссером Московского Центрального Дома Красной Армии. Ныне тов. Головин работает в Барнаульском гортеатре\*\*\*, — писала газета «Красная Ойротия» о подготовке театра к новому сезону. Но сезон открылся с большим опозданием. Не был своевременно

\* Тур И. Чапаев. Красная Ойротия, 1934, 18 декабря.

\*\* Тур И. От «Ревизора» до «Дороги Цветов». Красная Ойротия, 1935, 10 февраля.

\*\*\* Театр готовится к зимнему сезону. Красная Ойротия, 1935, 15 октября.

закончен ремонт, и не прибыла к началу сезона приглашенная группа артистов.

А ойрот-туристы с нетерпением ожидали открытия театра. От коллективов города в дирекцию задолго до открытия театра поступали заявки на лучшие места для ударников и коллективное посещение спектаклей\*.

Сезон 1935/36 года театр открыл спектаклем «Аристократы» Н. Погодина, поставленный новым режиссером театра. Для воплощения интересной пьесы Погодина на сцене театра в молодом коллективе нашлись профессиональные силы. Спектакль получился необычным по своему содержанию. В центре внимания были люди дна — бывшие уголовники, воры, растратчики и аферисты. Над их судьбой и дальнейшей жизнью задумывались зрители. На протяжении спектакля эти люди — враги Советской власти — в длительном и упорном труде под руководством советских чекистов, изменяясь, становились строителями новой жизни. Рецензент отмечал богатство выразительных средств всего спектакля, глубокую психологическую разработку некоторых ролей и некоторую увлеченность внешней отделкой\*\*.

Вслед за «Аристократами» Н. Погодина театр ставит следующие пьесы этого драматурга — «Шестеро любимых», «После бала», а также «Интервенцию» Славина, «Платон Кречет» Корнейчука, «Любовь Яровую» Тренева.

В Ойротии в те годы быстрыми темпами шло строительство новой жизни. Проводилась коллективизация деревни, пере-

ход на оседлый образ жизни, заканчивалось строительство Чуйского тракта — важнейшей магистрали, связывающей города Новосибирск, Барнаул, Бийск с Монголией, открывались полезные ископаемые в горах Алтая, разворачивалось строительство рудника в Улаганском аймаке, поднимались новые промышленные предприятия в городе Ойрот-Туре, строилась Чемальская ГЭС. Театр стремился активно участвовать в общественно-политической жизни области.

Впервые в начале 1936 года группа артистов под руководством режиссера Строева выезжает для показа спектаклей рабочим Чуйского тракта и для обслуживания населения в районах области.

Спектакли «Ойрот-театра» посмотрели колхозники Шебалина и Черги. Но в основном «Ойрот-театр» работал в городе и в районы области не выезжал. Такая работа мало удовлетворяла возросшие культурные потребности населения области.

К тому же театр мало способствовал развитию национальной драматургии и воспитанию национальных актеров. Частая смена актерского и режиссерского состава, режиссеры работали в основном один сезон, мешала творческому росту молодого коллектива. Театр работал на русском языке, большинство алтайского населения не знало русский язык. Но несмотря на это, интерес к театру был большой как со стороны русского населения, так и национального зрителя. Своей работой театр активизировал работу художественной самодеятельности, в первую очередь театральной. По существу, «Ойрот-театр» заложил традиции, подготовил зрителя к восприятию театрального искусства, подготовил и создал базу для возникновения национального театра.

В 1936 году по решению обкома и облисполкома «Ойрот-театр» был реорганизован в национальную студию.

\* Новые силы. Красная Ойротия, 1935, 28 июля.

\*\* Желанный. «Аристократы» в ойротском театре. Красная Ойротия, 1935, 15 ноября.

**В. ПЕТРЕНКО,**  
зав. архивным отделом  
Алтайского крайисполкома

## ПИСЬМА ИЗ ШЕНКУРСКА

Когда поднимаешься по крутой лестнице на краевую ВДНХ, невольно обращаешь внимание на памятник Н. М. Ядринцеву, созданный мастерами Кольванской шлифовальной фабрики.

В Государственном архиве края хранятся документы об этом замечательном человеке, крупнейшем сибирском писателе, путешественнике, общественном деятеле. В том числе изданные в 1918 году в Красноярске небольшим тиражом письма Н. М. Ядринцева к Г. Н. Потанину. Они охватывают период пребывания Николая Михайловича в шенкурской ссылке с февраля 1872 по январь 1874 годов.

На юге Архангельской губернии Ядринцев оказался после разгрома сибирских патриотов, «стремившихся к ниспровержению существующего порядка...» Из писем видно, какой напряженной умственной жизнью жил Ядринцев. Крупные журналы «Дело», «Отечественные записки» печатают его статьи. Позднее они вошли в книгу «Русская община в тюрьме и ссылке», принесшую автору мировую славу.

Политическому ссылкеному Н. М. Ядринцеву в 1872 г. исполнилось 30 лет. Его общественные взгляды четко определились: он пылок, страстен, убежденно отстаивает идею автономного самостоятельного развития Сибири, этого огромного малоосвоенного края.

Уже в первом письме, где с горькой иронией говорится об отступничестве бывших единомышленников, Ядринцев отрывается от уютного мирка «туфлей и халата», купленного ценой предательства.

Ядринцев внимательно изучал литературу о Востоке. Разработка проблем географии, истории Азии, считал он, должна внести драгоценные сведения в область европейской науки.

В письме от 5 марта 1872 года, вышедшая газета «Новое время», Николай Михайлович пишет: «Русские — дикари, азиаты. Азия — это место застоя, без будущего... какая избитая ополщенная острота».

В ряде писем Ядринцев ставит один из главных для него вопросов: о ссылке как средстве наказания. Чтобы выяснить ее роль в мировой истории, пришлось изучить десятки фолиантов. Практика буржуазной системы тюремного исправления в Европе

безнравственна, заключает ученый, она полна чудовищных противоречий. Следовательно, нужно создать рациональную исправительную систему, которая воспитает в человеке лучшие человеческие качества, поможет ему избавиться от пороков и нравственных недугов.

Вынужденное безделье, скверная пища, отвратительные условия в русских острогах развращают узников. Между тем среди них столько талантливых, душевно ясных личностей!

В Шенкурске Ядринцев продолжает увлеченно собирать материалы по разным отраслям знаний.

В очередном письме к Потанину Г. Н. с радостью сообщает он о полученной от одного ссылкеного рукописи стихов. Они привлекают исследователя тем, что безымянный автор описывает свое отчуждение в Сибири, неумение следовать здешним обычаям, неспособность к крестьянскому труду. Это красноречивый факт против ссылки как меры наказания, считает Николай Михайлович.

Пристально следит Ядринцев за тем, что появляется в печати о Сибири.

В 1885 году некий Блюмер в романе «На Алтае» изобразил быт и нравы коренного населения в духе низкопробного авантюрного романа. Называя роман бездарнейшей чепухой, Ядринцев считает, что подобной литературе «стоит когда-нибудь посвятить хлесткую критику».

Характер отношений метрополий к колониям Ядринцев рассматривал на примере Англии, для чего в Шенкурске приступил к изучению английского языка. Обобщая прочитанное и продуманное, в письме от 18 июня 1872 г. он подчеркнул: захват и эксплуатация колонии развращает эксплуататоров и эксплуатируемых. Поэтому история цивилизации учит «солидарности международных отношений, основанных на принципах равенства и свободы». Эта гуманистическая мысль актуальна и сегодня.

Нередко Ядринцев откровенно жалуется на материальные стеснения, так как газеты и журналы не проявляли аккуратности в выплате гонораров. Надо выполнять работы ради скудного заработка. В то же время очерки о сибирской торговле писатель «должен отложить... так они ни в один журнал не пойдут». Не находилось време-

ни на давно задуманную статью «Провинция и провинциализм». «Первые строки памфлета готовы, — делится своими замыслами Ядринцев в письме от 12 июля 1872 г., — они начинаются словами: «Что такое провинция? Это синоним невежества, тупости, скотской жизни и скопища злоупотреблений. Но разве имеет право образованный человек отвернуться от народа — варвара в семье, дикаря в хозяйстве, коснеющего в глуши? Нет, не имеет». Поэтому автор мечтает о такой статье, обращенной к молодежи, где «сливались бы свет и тени провинциальной жизни... Это был бы вопль провинциала, плач его сердца, проклятие прошлому и рокот барабана, призывающий его к будущему».

В шенкурский период Ядринцев начинает сознавать, что новые экономические отношения разъедают патриархальную общину, что сохранить ее в прежнем виде невозможно. И здесь он вступает в полемику с Потаниным, считавшим, что «община... находится в прогрессирующем состоянии».

Рассматривая сложные явления политики и экономики, Ядринцев использует ряд положений из учения К. Маркса, которые он с интересом, как видно из писем, изучал в шенкурской ссылке.

Однако до понимания роли классовой борьбы в социальной революции ему подняться не удалось.

Выступая с просветительских позиций, Николай Михайлович отводил интеллигенции революционную роль в обществе. На такую роль современная интеллигенция пока не способна, заявляет Ядринцев: «В теориях, в задачах, в идеалах она очень отвлеченна, ее мечты обширны, но практическая деятельность ничтожна... она ищет силы вне народа, а не в народе». Появление же новой интеллигенции, особенно из крестьянской среды, сдерживается распределением образования преимущественно в среде высших сословий и богачей.

В конце 1872 года над головой шенкурского ссыльного тучи сгущаются: угнетающее безденежье, страшная болезнь и смерть близкого товарища — Ушарова, изнурительная борьба с редакторами реакционных журналов, невзгоды в личной жизни... Как спасение — письма от Потанина. Получив их, Николай Михайлович преобразался: «...чувствую какую-то новую силу и, как арабский конь, дрожу всеми моими нервами и бью копытом от нетерпения, готовый на новый бег».

Признанный идеолог сибирского областничества, участвовавший в революционной организации 60-х годов XIX в. «Земля и воля», автор статьи «К характеристике Сибири» в герценовском «Колоколе», вдохновитель программной прокламации «Патриотам Сибири», известный ученый и путешественник, Григорий Николаевич Потанин все годы жизни был для Ядринцева авторитетным другом, верным соратником.

Большая часть писем Ядринцева Потанину — подробнейший разбор новых журнальных и газетных статей по социально-экономическим проблемам. Так, в письме от 7 ноября 1872 г. Николай Михайлович подробно останавливается на публикации

А. Шапова в «Отечественных записках» «О развитии высших человеческих чувств».

Решительно опровергает он вывод своего бывшего учителя о том, что «...в сибирском населении... гораздо более, чем в великорусском народе, своекорыстно-приобретательских чувств. ...Сибиряки грубы, немилосердны, мошенники, против российских людей далеко не будут по доброте сердечной, они скупы безмерно, не жалостливы, бессердечны».

Исторические условия формируют нравы людей. Ссылные, бродяги из центра портят туземное население, — рассуждает Ядринцев.

В своих письмах Николай Михайлович, склонный к постоянным этнографическим наблюдениям, тепло, с большой симпатией пишет о простых людях, окружавших его в ссылке.

Например, в письме от 2 декабря 1872 года рассказывается о нелегкой охоте за оленями в Шенкурском округе. Обычно зимой оленя преследуют на лыжах 2—3 крестьянина несколько дней. Наиболее выносливый охотник в погоне за зверем постепенно по дороге сбрасывает с себя одежды до исподнего, чтобы ничто не мешало настичь жертву. В ожидании товарищей с одеждой удачливый охотник заворачивается в шкуру убитого оленя, спасаясь от нещадного холода. Мужество и стойкость неприхотливых жителей этого северного края восхищает Ядринцева.

В целом ряде публицистических произведений и в письмах из Шенкурска Ядринцев последовательно отстаивает глубоко демократическую идею о праве малых народов Российского государства на просвещенную, свободную, человеческую жизнь, на развитие подлинно национальной культуры. Царский двор, промышленная буржуазия, купечество — вот виновники бедственного положения инородцев, их массового истребления, — смело утверждает Ядринцев. Промышленники согоняют туземное население с насиженных мест, торговцы грабят и закабаляют несчастных, а православная церковь освящает прогнившую колониальную систему.

Позднее в 1878—1888 годах Ядринцев предпринял длительные экспедиции, в ходе которых внимательно ознакомился с положением нерусского населения. Знанием дела, искренней любовью к Алтаю проникнута не утратившая значения и по сей день работа ученого «Сибирские инородцы, их быт и современное положение». За вклад в науку Ядринцев награждается Русским географическим обществом золотой медалью. Немало душевных сил и энергии затратил Ядринцев, добиваясь открытия в Томске университета как светоча знаний и культуры для всех народностей огромной Сибири.

Николай Михайлович не считал себя поэтом: «Стихи не по моей части, полная отделка их не удастся». Но не писать не мог: это было потребностью его поэтической природы. В стихотворении «Ветрянка», направленном на суд Потанину, выражена непреклонная вера поэта в лучшее будущее после холодных ветров и жестоких бурь. Для новых поколений «жизнь начнет-

ся в веселой семье, нежною дружбой, любовью согрета».

В переводах из Гейне звучит тот же мотив: много жертв, принесено во имя идеалов, погибло в бою «столько молодой и честной силы», но приходят новые отряды гордых рыцарей «для борьбы еще и славы». Почти в каждом письме Ядринцева Потанину из Шенкурска стихи или о стихах.

Очень правильно, на мой взгляд, поступил А. Преловский, составитель прекрасного сборника «Сибирские строки», выпущенного издательством «Молодая гвардия» в 1984 году, включив три стихотворения Ядринцева. Одно из них, «Родина», написанное в шенкурской ссылке, наиболее ярко и полно выражает патриотические настроения поэта:

И я слышу чутким сердцем,  
Что великою судьбою  
Начинает уже веять  
Над моим далеким краем,  
Над землей моей родной.

В ссылке Ядринцев тщательно обдумывает план издания сибирской газеты.

В 36-м письме от 7 февраля 1873 года он образно характеризует бедственное положение сибирских патриотов без печатного органа: «Мне представилась картина, что мы, восточные журналисты, не имеем своего угла на свете, мы музыканты, не имеющие инструмента на что купить, мы странники, блуждающие в пустыне, останавливаемся для отдыха во всяком месте».

С 1881 г. Н. М. Ядринцев — издатель и редактор газеты «Восточное обозрение». Она сразу же стала популярной. На ее страницах печатались статьи и очерки, стихи и фельетоны, бестрепетно срывавшие

маску с сибирских толстосумов, обнаглевших держиморд, титулованных тит титычей.

Каждый номер встречает сочувствие и поддержку простого люда, ненависть и бешеную злобу царских сатрапов и местной буржуазии.

Кипучая деятельность по распространению просвещения, оказание материальной помощи студентам-сибирякам, привлечение внимания к истории Сибири, к изучению ее природных богатств, экономики и культуры, спасение голодающих, организация санитарных отрядов для борьбы с холерой среди переселенцев — вот стихия, в которую с головой окунулся после ссылки сначала в Петербурге, а потом в разных сибирских городах неутомимый Н. М. Ядринцев.

Нарастало общероссийское революционное движение. Дорогие, выстрадавшие в Шенкурске Ядринцевым идеи сибирского патриотизма, областничества не находили сторонников в молодежной среде.

«Тяжело умирать, не видя наследников», — пишет в автобиографии Н. М. Ядринцев.

И на смертном одре мысли талантливого писателя и публициста, ученого и общественного деятеля — о Сибири.

«Ее уделом может быть... культурный рост, мирный прогресс, увеличение благосостояния, усвоение знаний рядом с просвещением и цивилизацией».

Экономический и духовный расцвет всей Сибири принесла Великая Октябрьская социалистическая революция.

И ныне живущие на преображенной земле Алтая чтят и будут чтить память о человеке, не отделявшем своего счастья от судьбы народной, от судьбы сибирского края.



Нечунаев Василий Маркович родился в 1939 году на Алтае в селе Кислуха. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

Автор поэтического сборника «Красная линия», книг для детей — «Небывалый самолет», «Скворушкин дворец», «Сказка о заводной лягушке», «Учили азбуке козу» и других.

Член Союза писателей СССР.

Живет в Барнауле.

Василий НЕЧУНАЕВ

# ЧУДО-ЛЮДИЯ, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ АФОНИ В СТРАНУ ЧУДЕС

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОЭМА

## Пролог

И не дождик, и не пыль,  
И не сказка, и не быль —  
Просто выдумка чудная...

Тополиный пух пиная,  
Шел угрюмый мальчуган,  
Хулиган не хулиган  
И тихоня не тихоня,  
Старомодное — Афоня —  
Было имя у него.

Словно вьюга — и-го-го-го-о-о! —  
По селу промчались кони.

Что вы, кони, для Афоня?!  
Кони здесь. А где-то ТАМ —  
ТАМ живет гиппопотам!

Надоело все мальчишке:  
Прочитал Афоня в книжке  
Про заморские края.  
Поглядит на воробья  
И вздохнет: «А ТАМ павлины!»  
Поглядит на куст рябины  
И опять вздохнет: «Не тут —  
Пальмы чудные растут».  
И в тоске по дальним странам,

По кокосам да бананам  
За селом у трех берез  
Встал Афоня, как вопрос.  
Глядь: откуда-ниоткуда  
И не чудо, и не юдо,  
И не леший, и не гном —  
Таз громадный кверху дном.  
Встал. Стоит, как истукан.  
Руки-ноги по бокам.  
Красный глаз огнем горит.  
Таз глазастый говорит:  
— Ты чего, Афоня, мрачный?  
— Я родился в неудачной,  
В нечудесной стороне.  
— Полетим тогда ко мне!

Не успел мигнуть Афоня —  
Под Афоней таз сифонит.  
Мчит Афоня на тазу,  
Мельтешит земля внизу...

Сколько лет гадают люди  
О летающей посуде —  
Есть такая или нет? —  
Вот Афоня знал ответ.  
На тазу в одну минуту  
По волшебному маршруту  
Прилетел в Страну Чудес.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Экзотический обман*

Пальмы ростом до небес.  
И павлины на поляне.  
Вся земля в цвету, в сиянье.  
Сине море за спиной  
В берег хлопает волной.  
И Афоня, весь ликуя,  
Произносит речь такую:  
— Во природа! Во балдеж!  
Ну, железо, ты даешь!  
Красота! О'кей делишки! —  
Скинул модные штанишки.  
— На, железо!  
Карауль!  
Я полезу — буль-буль-буль!

Буль-буль-буль — и рот разинул:  
Как надутую резину,  
Наверх вынесло его.  
— Аш-два О так Аш-два О!  
Во! — Афоня удивлялся.  
Лег на спину и валялся  
На пружинистой волне.

Над Афоней в вышине  
Млела пальма.  
— Вот так крона!  
С «воттакроны» не ворона —  
Попугайчик желто-красный  
Прокартавил:  
— Мальчик, здравствуй!  
— Здравствуй, здравствуй,  
попугайчик! —

Обзывать начал мальчик.  
Вдруг услышал — что за шум? —  
Обезьяны — хрум-хрум-хрум! —  
Без него едят бананы.  
— Что я, хуже обезьяны?! —  
Подошел Афоня к тазу. —  
Я не пробовал ни разу  
Заграничные плоды.  
Железяка, дай еды!  
— Айн момент! Изображу! —  
И на кнопку палец —  
«Вжжу!».  
Тут как тут банан с кокосом —  
У Афони перед носом.  
И вдобавок кока-кола.  
— Для кого семья и школа,  
Для кого-то пир горой! —  
Усмехнулся наш герой.  
Взял кокос. Поднес ко рту.  
— Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту!  
«Железяка» застучала. —  
Дай-ка денежку сначала.

У меня, в Стране Чудес,  
Кто не платит, тот не ест.  
Не балдеет, кто не платит.  
Подурачился и хватит.  
Дурачков не уважаю.  
Я тебе изображаю  
Экзотический обман.  
Мой обман, а твой карман.  
Есть вопросы?  
— Нет вопросов!  
Не хочу твоих кокосов!  
Отвези меня домой!  
— Не могу. Черед не мой.  
У меня, в Стране Чудес,  
Интерес за интерес:  
Я возил — меня вези. —  
И на кнопку палец —  
«Вззи!».  
«Вззи!» — и снова чудеса:  
Два алмазных колеса,  
Трон в узоре золотом,  
Две оглобли с хомутом.

Таз устроился на троне.  
— Ну, Афонюшка-Афоня,  
Запрягайся в колесницу.  
Повезешь меня в столицу.  
Что сказал?  
Не повезешь?!  
— Ну, железо, ты даешь!  
Я не конь!  
— И я, однако,  
Мальчик мой, не железяка:  
Железяки не умны.  
Надевай скорей штаны  
И — в хомут.  
Усек?  
— Усек...

Глину чувствует носок.  
Слева — глина, справа — глина.  
Был павлин — и нет павлина.  
Есть оглобли. Это факт.  
Под ногами, словно тракт, —  
Русло высохшей реки.  
Пни пообочь и пеньки.  
Пни. Пеньки. И хоть бы кустик.  
Все мертво. Не свистнет суслик,  
Ни пчела не пролетит.  
Лишь труба копит-копит  
Далеко на небосклоне...  
Кони вспомнились Афоне,  
Заливной, зеленый луг.  
И с чего бы это вдруг,



Но еще Афоня вспомнил,  
Как томительно трезвонил  
Бледный листик на осинке...  
В глину падали слезинки.  
В хомуте за шагом шаг  
Шел Афоня, как бурлак.

Но бурлак, сказать по чести,  
На Афонюшкином месте  
Не месил бы даром глину.  
Забасил бы он «Дубину»:

— Ну-ка, ухнем! Ну-ка, таз!  
Еще разик, еще раз!  
И сама, сама пошла бы  
Колесница по ухабам,  
Полетела бы стрелой  
С русской песней удалой!  
Но «Дубинушка» вовеки  
Не была на дискотеке,  
Не жила в магнитофоне.  
«Чунгу-Чангу» знал Афоня,  
А «Дубинушку» не знал...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

*Цилиндроград*

Загорелся стоп-сигнал.  
Улетел хомут с Афони.  
Скрылся тот, кто был на троне.  
Развернулась панорама:  
Ромбы.  
Параллелограммы.  
Пирамиды.  
Призмы.  
Кубы.  
Треугольчатые трубы.

— Во строенья! Во дома!  
Геометрия сама!  
Все дома — лицо к лицу.  
Черный плац.  
И на плацу  
Гравировка:  
«Плац балдежный.  
Танцевально-молодежный».  
Наверху колокола.  
Текст: «Система А-ЛА-ЛА».  
На плацу внезапно вырос  
Чудо-таз.  
В руках папирус.  
И Афоне чудо-таз  
Зачитал приказ-наказ:  
Прошагаешь по столице  
От таблицы до таблицы,  
К ЗНАМЕНАТЕЛЮ придешь».

— Во таблицы! Во балдеж!  
Словно братья-близнецы,  
На домах столбцы, столбцы....  
Много-много слов ученых,  
Буквы в рамках золоченых,  
В рамках бисерных слова:  
«Что такое голова?  
Пустотелый аппарат.  
Служит он не для шарад,  
А для мудрых аксиом.  
Аппарат идет на слом,

Если серое в него  
Попадает вещество».

— Во! — подумалось Афоне.  
Взял он голову в ладони:  
— Аппаратик! Бедный мой!  
Как нам выбраться домой?!  
— Ну тебя, акселерата, —  
Раздалось из «аппарата». —  
И на слом, так поделом!  
Обзывал меня котлом?  
Говорил: придурки предки?  
Заграничной этикетке,  
Как конфетке, был ты рад.

— Вот тебе и аппарат!  
Вот тебе и заграница!

За таблицью таблица  
И одна другой чудней.

«Лес вредит подъему ПНЕЙ,  
А ЦИЛИНДРАМ ПНИ сродни,  
Лес убрать — оставить ПНИ».

За параграфом параграф:

§

«Превратить слонов в жирафов.  
У жирафов — рост и стать.  
Вывод: могут все достать».

§

«В травах множество отравы.  
Вывод: корни трав корявы.  
Извлечем КОРЯВЫЙ КОРЕНЬ,  
ВЫЧИСЛЕНЬЕ трав ускорим».

§

«В геометрию страны  
Вносят много кривизны  
Реки и придатки рек».

§

«. . . . .»

Глядь — шагает человек.  
 В джинсах. В майке расписной.  
 И — цилиндрик жестяной  
 Там, где место головы.  
 Но зато какие львы!  
 Львы двуглавые на майке!  
 «Экспорт. Маде ин Ямайка.  
 Люкс». — Афоня прочитал.  
 — Ты такую где достал?  
 — Что достал? Чего такую?  
 — Да про майку я толкую!  
 Не усек?! Ты что, debil?!  
 Где вещицу раздобыл?!  
 — А у нас у всех такие,  
 Мы ведь парни городские.

Подошла толпа «парней».  
 — Мы — ЦИЛИНДРЫ — всех модней.  
 Чем моднее, тем умнее.  
 Чем умнее — жестянее  
 Пустотельный аппарат.  
 — Как зовут тебя, камрад?  
 — Я — Афоня.

— Ты, — спросили, —  
 Сам откуда?  
 — Из России.  
 — Из России?! Да не ври!  
 Там живут богатыри.  
 Сильный дух у них по слухам.  
 Богатырским русским духом  
 Удиви!  
 — Вы что, с приветом?!  
 Во?! — И пальчиком при этом  
 Стал Афоня делать знак.  
 Знак простой. Всего пустяк.  
 Но сыграл большую роль.

— Парень знает наш пароль!  
 — Этот парень в доску свой,  
 Хоть и с круглой головой!  
 — Свой мужик!  
 — Мужик надежный!  
 — С нами праздник молодежный  
 Отмечать пойдешь?  
 — Пойду...  
 Согласился быть в аду.

#### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### «Дрыген-скок»

Адом был балдежный плац.  
 — Бум-бум-бум! Бац-бац-бац-бац!  
 Бац-бум-бум!  
 — Вот это джаз!  
 Появился чудо-таз  
 И торжественно изрек:

— Неотанец «Дрыген-Скок»!  
 Объявляется начало!  
 И завыла, застучала  
 Вся система «А-ЛА-ЛА» —  
 Завизжала, как пила,  
 Задолбила, как зубило.

Тут Афоню зазнобило.  
 Пот полился из Афони,  
 Словно был на марафоне.  
 Словно был.  
 А в самом деле  
 Он стоял.  
 Они балдели.  
 Он глядел со стороны,

Помня заповедь страны:  
 Кто не платит — не балдеет.  
 Вдруг почувствовал:  
 Твердеет,  
 Жестянеет голова.  
 А ЦИЛИНДРАМ трын-трава.  
 Стукотят.  
 Трясутся.  
 Скачут.  
 Вытанцовывают, значит,  
 Этот самый «Дрыген-Скок»,  
 Словно в них впустили ток  
 На пятьсот примерно вольт.

Голова трещит. Вот-вот  
 ЦИЛИНДРИЧЕСКОЮ станет.

А система тарабанит,  
 Выколачивает разум.

Подбежал Афоня к тазу:  
 — Выключай свой «Дрыген-Прыг»!

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

## Чудо-людия

— Что случилось? Что за крик?  
 Что не нравится Афоне?  
 Может быть, он на гармонии  
 Нам сыграет полонез?  
 Ад, исчезни!

Ад исчез.  
 Схлынул то есть гром железный.

Таз к Афоне:

— Ну, любезный,  
 Полонез изобрази!  
 — Лучше к предкам отвези:  
 Предки любят гармозу.  
 Отвезешь?  
 — Я отвезу.  
 Ты пока что отвяжись.  
 Чем, скажи, тебе не жизнь  
 У меня в Стране Чудес?  
 — Ты вредитель! Губишь лес!  
 Всю природу перепортил!  
 — У-тю-тю! Вот это фортель!  
 Отыскался друг природы!  
 У тебя твои заводы  
 Закоптили все вокруг.  
 Ты природе враг — не друг.  
 Из природы сделал свалку.  
 Сам себе свою рыбалку  
 Ты испортил почему?!  
 Чем учить меня уму —  
 Огород не городи!  
 А теперь и рассуди:  
 Чья взяла — моя, твоя?  
 — Не усек.  
 При чем тут я?  
 И при чем тут огород?  
 — Не усек он! Во дает!  
 Что ж, вернемся к огороду.  
 Огородную природу  
 Ты полол и поливал?  
 — Ну и что?  
 — А то!  
 Плевал  
 На природу остальную!  
 Как старушку-мать родную  
 Сдал в приют — и все дела!  
 Подключу колокола,  
 Если спорить будешь снова:  
 У меня свобода слова!  
 — Не хочу колоколов!  
 Никаких не надо слов!  
 — Нагрубил — теперь в кусты?  
 — Ты обманщик!  
 — Я?

А ты?  
 Не обманщик?  
 Твой обман —  
 Как резиновый роман.  
 Даже больше. Тяжелей.  
 «Предков» и учителей  
 Обманул ты сколько раз?  
 Я, хотя и одноглаз,  
 Вижу все и вся насквозь.  
 Ты, Афоня, словно гость  
 На отеческой земле.  
 У тебя в твоём селе  
 Вместо русского возник  
 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ язык.  
 — Эт какой?  
 — Какой!  
 Тот самый,  
 На котором папу с мамой  
 Детки «предками» зовут!  
 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ маршрут  
 Начинают с языка.  
 Наберут порожняка.  
 В пустотелый аппарат,  
 А потом в ЦИЛИНДРОГРАД —  
 Путь надежный и прямой...  
 — Отвези меня домой!  
 — Отвезу само собою,  
 Но ладом тебя отмою  
 Перед тем как повезу.  
 — Как отмоешь?  
 В чем?  
 — В тазу. —  
 Чудо-таз сказал сердито. —  
 Неужели на корыто  
 Я хоть капельку похож?  
 Ну, Афоня, ты даешь!  
 Задаешь вопрос банальный:  
 Я ведь таз универсальный.  
 Есть во мне волшебный душ  
 Для мытья заблудших душ,  
 Профилактики мозгов...  
 Отойди на пять шагов! —  
 Чудо-таз возвысил голос. —  
 Не поспеет добрый колос  
 Из недоброго зерна.  
 Чудо-людия нужна!  
 — Это что?  
 — Такой обряд.  
 Чудо-людию творят  
 Не для птички на бумажке.

Таз поднялся вверх тормашки  
 То есть, встал на землю  
 дном.

Чует дном: Афоня в нем.  
 — Принимаемся за дело!  
 Клокотало и гудело,  
 Таз дымился, как вулкан,  
 И шептал:  
 «Обман-поган,  
 Чистым будь, не будь поганим,  
 Не гонись за иностранным.  
 Там у них не все о'кей,  
 Ты, Афоня, не лакей.  
 Будь, Афоня, ЧЕЛОВЕКОМ,  
 Другом будь лесам и рекам,  
 Повернись туда, где есть  
 Правда, Совесьть, Ум  
 и Честь...  
 Вся Афонюшкина дрянь  
 Выйди вон!  
 Афоня, встань!»  
 И тогда свершилось чудо:  
 Наш Афоня из «оттуда»

Вышел прямо молодцом,  
 С умным, солнечным лицом.  
 Чище всех на белом свете.

Что, не верите?  
 Поверьте!  
 Все здесь правда, без прикрас!  
 — Вам спасибо, Чудо-Таз! —  
 Молвил молодец с поклоном.  
 — Что, Афонюшка, по коням?!  
 И Афоня полетел...

ЧЕЛОВЕК рожден для ДЕЛ!  
 Для простых и для великих!

А толпа цилиндроликих  
 Бесновалась и кричала:  
 — Эй, Афоня! Чао! Чао!  
 Чем не нравится у нас?!

## Эпилог

Был и не был Чудо-Таз.  
 Встал на землю,  
 как спросонья,  
 Добрый молодец Афоня.  
 И — поклон местам родным.  
 Три березы перед ним.  
 Мчатся кони — «И-го-го!!!».

Засияло для него  
 Все вокруг чудесным светом:  
 Красный стяг над сельсоветом,  
 Землю призванный беречь!  
 Речь родная!  
 Наша речь!  
 Что ни слово — то обновления!  
 Сколько русского, родного  
 В скромной ставне голубой!

Вон —  
 Железный —  
 Над трубой  
 Кукарекает петух.  
 Русский запах! Русский дух!

Лес, река, машины, кони,  
 Стан бригадный над рекою...  
 И зареченские дали...

Эти ратные медали  
 На груди фронтовика...

Чья-то мудрая рука,  
 Чья-то праведная сила  
 Все вокруг соединила  
 Прочной ниточкой одной!  
 Мама. Папа. Дом родной...

Все родное! Все родные!  
 Это Родина!  
 Россия!  
 Дорогая сторона —  
 Не постылая чужбина!  
 С нею все у нас едино!  
 В красный день!  
 И в черный час!

Так-то, братцы!  
 Кончен сказ!

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬМАНАХА «АЛТАЙ» ЗА 1986 ГОД

### ПРОЗА

- ГАББАСОВ Энгельс. Не оборвется тропа. Повесть. № 1.  
ДАНИЛОВ Сергей. Один. Рассказ. № 3.  
ДИТЦ Александр. Журавец над крышей. Повесть. № 3.  
ЕРШОВ Леонид. Два рассказа. № 3.  
КАИНЧИН Дибаш. Два рассказа. № 1.  
ЛЕБЕДЕВ Иван. Мраморная ведьма. № 3.  
МОРОЗОВ Вячеслав. Контрасты. Рассказ. № 3.  
ПОПОВ Виктор. Славка Залесов. Главы из романа. № 2.  
СОКОЛОВ Владимир. Перемены. Повесть. № 4.

### ПОЭЗИЯ

- БАЙБУЗА Николай. Резко я вижу. Стихи. № 1.  
БАШУНОВ Владимир. Изначальное родство. Стихи. № 3.  
ЗОНДАРЧУК Ольга. Ночная прогулка. Стихи. № 1.  
КАЗАКОВ Владимир. Свет родительского окна. Стихи. № 1.  
КАПУСТИН Борис. «Родные тени зову...» Стихи. № 3.  
КЛЮШНИКОВ Сергей. Весна проходит по двору. Стихи. № 1.  
КОЗОДОЕВ Владислав. «И вновь о счастье размышляешь...» Стихи. № 2.  
КУЗНЕЦОВА Татьяна. «Всего тебе хорошего...» Стихи. № 3.  
ЛАКТИОНОВ Николай. «На то нам и память дана...» Стихи. № 2.  
МОРОЗОВ Николай. ...А дано ее беречы Стихи. № 4.  
НИКОЛЕНКО Наталья. Чтобы встретиться. Стихи. № 1.  
ОСТАПОВ Александр. «Если боль чужая — не чужая...» Стихи. № 2.  
ПАНОВ Геннадий. «Во имя добра и доверья...» Стихи. № 4.  
ЧЕРКАСОВ Николай. «Это время неторопких дум...» Стихи. № 2.  
ЯНЕНКО Станислав. Возрастной барьер. Стихи. № 3.  
ИМЯ В ПОЭТИЧЕСКОЙ РУБРИКЕ. Стихи молодых. № 4.

### ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

- БЕЛОЗЕРЦЕВ Василий. Главное дело на земле. № 2.  
ИВАНОВ Игорь. Артекство. № 4.  
КОКАРЕВ Игорь. Престижность инженерного труда. № 1.  
ПРОЗОРОВ Алексей. В поисках синей птицы. № 2.

- ШИПИЛОВ Виктор. Встречи на Чуйском тракте. № 3.  
ШИПУЛИН И. К. С чего начинается рабочий. № 1.

### ПАМЯТЬ

- ДВОРЦОВ Николай. Эстафета. № 3.  
ГУЩИНА-ДВОРЦОВА. Весенний день. № 3.  
НЕВСКИЙ Александр. Наследство Ивана Малкова. № 1.

### ОТЕЧЕСТВО МОЕ

- ЮДАЛЕВИЧ Марк. Барнаул. № 1—2.

### КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ГОРН Виктор. Истоки нравственности. К 50-летию со дня рождения Е. Гущина. № 3.  
ГРИШАЕВ Василий. Забытое имя. № 2.  
ДУБРОВСКАЯ Виктория. От поэзии до прозы — один шаг. № 4.  
ЕНАКИЕВ Равиль. «...Стараюсь держать экзамен». № 1.  
КАШИРИН Сергей. Земля и люди. Заметки о книгах из серии «Современная сибирская повесть». № 4.  
КЛАДОВА Нина. Страницы героической борьбы. Обзор литературы 1970—80 гг. о рабочем классе Сибири в годы гражданской войны и иностранной интервенции. № 2.  
КОНДАКОВ Георгий. На языке малого народа. № 1.

### ВЧЕРА, СЕГОДНЯ

- ТАРБАНАКОВА С. «Ойрот-театр» — первый театр Горного Алтая. № 4.  
ПЕТРЕНКО В. Письма из Шенкурска. № 4.

### САТИРА И ЮМОР

- КРАСНОВ Вадим. Мини-басни. № 1.  
НЕХАЕВ Владимир. Новаторы. Испытание. Карантин. Рассказы. № 3.  
ЮДАЛЕВИЧ Марк. Дело в шляпе. Рассказ. № 3.

### ДЛЯ ДЕТЕЙ

- НЕЧУНАЕВ Василий. Чудо-людия, или путешествие Афони в страну чудес. Фантастическая поэма. № 4.  
НОВИЧИХИНА Валентина. Дождь. Радуга. Дружок. Жеребенок. Считалка. Пробуждение. Умывание. Кузнечики. Утята. Сверчок. Стихи. № 2.

50 коп.

На первой странице обложки: фото  
С. И. ПИРОГОВА «Зимний вечер»







